

Сол
Беллоу



The BEST

Планета мистера Заммлера

[роман]



XX век / XXI век – The Best

Сол Беллоу

Планета мистера Заммлера

«Издательство АСТ»

1970

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

Беллоу С.

Планета мистера Заммлера / С. Беллоу — «Издательство АСТ»,
1970 — (XX век / XXI век – The Best)

ISBN 978-5-17-137202-6

«Мастер короткой фразы и крупной формы...» – таков Сол Беллоу, которого неоднократно называли самым значительным англоязычным писателем второй половины XX века. Его талант отмечен высшей литературной наградой США – Пулитцеровской премией и высшей литературной премией мира – Нобелевской. В журнале «Vanity Fair» справедливо написали: «Беллоу – наиболее выдающийся американский прозаик наряду с Фолкнером». В прошлом Артура Заммлера было многое – ужасы Холокоста, партизанский отряд, удивительное воссоединение со спасенной католическими монахинями дочерью, эмиграция в США... а теперь он просто благообразный старик, который живет на Манхэттене и скрашивает свой досуг чтением философских книг и размышляет о переселении землян на другие планеты. Однако в это размеренно-спокойное существование снова и снова врывается стремительный и буйный Нью-Йорк конца 60-х – с его бунтующим студенчеством и уличным криминалом, подпольными абортами, бойкими папарацци, актуальными художниками, «свободной любовью» и прочим шумным, трагикомическим карнавалом людских страстей...

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-137202-6

© Беллоу С., 1970
© Издательство АСТ, 1970

Содержание

I	7
II	33
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Сол Беллоу

Планета мистера Замлера

© The Estate of Saul Bellow, 1969, 1970

© Школа перевода В. Баканова, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

* * *

I

Мистер Артур Заммлер проснулся очень рано, почти на рассвете (во всяком случае, при нормальном небе это явление следовало бы назвать именно так). Открыв глаз, он оглядел из-под кустистой брови свою вестсайдскую спальню, заваленную книгами и газетами. У него возникло сильное подозрение, что все это не те книги, не те газеты. Но когда тебе за семьдесят и спешить некуда, пожалуй, не так уж важно, чтобы все было то. Да и вообще, только люди со странностями могут упорно твердить, будто в их жизни все правильно. Остальные понимают: правота – это в значительной степени вопрос трактовки. Современный интеллеktуал – человек трактующий. Отцы постоянно растолковывают что-нибудь детям, жены – мужьям, лекторы – слушателям, специалисты – неспециалистам, коллеги – коллегам, врачи – пациентам, человек – собственной душе. Мы только и говорим, что о корнях того и причинах другого, о предпосылках исторических событий, о структурах и закономерностях. А у слушателей, как правило, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Душа по-прежнему хочет того, чего хочет. У нее свое естественное знание. Ей неуютно сидится на наших объяснительных надстройках. Она как бедная птица, которая не знает, куда лететь.

Глаз ненадолго закрылся. Мистеру Заммлеру подумалось, что это безнадежный труд – качать и качать воду, как делают голландцы в попытке отвоевать несколько акров сухой земли у наступающего моря. Оно, море, – метафора фактов и ощущений, которые все множатся и множатся. А почва – это идеи.

Поскольку спешить на работу было не нужно, мистер Заммлер решил дать сну второй шанс: возможно, в воображаемой реальности некоторые проблемы решатся. Он снова натянул на себя отключенное электрическое одеяло – сеть сухожилий и шишек под приятным на ощупь атласом. Дремота еще не прошла, но по-настоящему спать уже не хотелось. Сознание вступило в свои права.

Мистер Заммлер сел и включил электроплитку. Воду он налил перед сном. Ему нравилось смотреть, как нагревается пепельная спираль. Она оживала яростно, вспыхивая крошечными искорками, краснея и топорщась под лабораторной колбой из термостойкого стекла. А в глубине белея. Левый глаз мистера Замллера только различал свет и тень. Зато правый, темный и блестящий, зорко смотрел из-под волосков нависшей брови, придавая Заммлеру сходство с собаками некоторых пород. Пропорционально росту его лицо казалось маленьким, и эта особенность обращала на себя внимание.

Оттого что в его внешности есть нечто, обращающее на себя внимание, ему было неспокойно. Возвращаясь домой на привычном автобусе с Сорок второй улицы, из библиотеки, он несколько вечеров подряд наблюдал работу карманника. Тот садился на площади Колумба и до Семьдесят второй улицы успевал сделать свое противозаконное дело. Мистер Заммлер видел это единственным здоровым глазом благодаря большому росту. И теперь думал: не слишком ли близко он стоял? Не заметил ли вор, что он его заметил? Глаза мистера Замллера всегда защищали затемненные очки, но на слепого он похож не был. Ходил не с белой тростью, а с зонтиком в британском стиле. И смотрел не так, как смотрят незрячие. Карманник – мощный негр в пальто из верблюжьей шерсти – тоже носил темные очки. Вид у него был такой по-английски элегантный, как будто он одевался у мистера Фиша в Вест-Энде или в магазине «Тернбулл и Эссер» на Джермин-стрит (мистер Заммлер хорошо знал свой Лондон). Когда к мистеру Заммлеру повернулись два генцианово-фиолетовых кружка в изящной золотой оправе, он разглядел под ними нахальство большого животного. Трусом он не был, но бед в его жизни и так хватало. С большей частью он, вероятно, мог свыкнуться (то есть как бы ассимилировать их), однако не мог примириться. Сейчас Заммлер подозревал, что негр обратил внимание на высокого белого старика, который (прикидываясь слепым?) наблюдал все его преступные манипу-

ляции в мельчайших подробностях. Пялился сверху вниз на его руки, как на руки хирурга, делающего операцию на открытом сердце. Чтобы себя не выдать, мистер Заммлер решил не отворачиваться, но компактное цивилизованное пожилое лицо все-таки густо покраснело под взглядом вора, по коже пробежали мурашки, а губы и десны почувствовали жжение, как от укуса насекомого. В основании черепа, там, где туго переплетаются нервы, мускулы и кровеносные сосуды, что-то тошнотворно сжалось. Поврежденные ткани, это спагетти из нервов, словно бы обдало дыханием военной Польши.

Если метро прямо-таки убивало мистера Замллера, то автобусы он находил сносными. Неужели теперь ему и на них нельзя было ездить? Он никогда не умел держаться, как подobaет семидесятилетнему ньюйоркцу – в стороне от того, что его не касается. В этом и заключалась его проблема. Он забывал о своем возрасте и о положении, не обеспечивающем ему безопасности. В Нью-Йорке безопасность была привилегией тех, кто мог позволить себе не соприкасаться с толпой, – людей с доходом в пятьдесят тысяч, которые состояли в дорогих клубах и пользовались услугами таксистов, швейцаров, охранников. Ему же, мистери Заммлеру, приходилось покупать еду в автомате и ездить на автобусе или слушать скрежет вагонов метро. Ничего особенно страшного в этом не было, но, прожив двадцать лет в Лондоне в качестве корреспондента варшавских газет и журналов, он приобрел привычки «англичанина», не самые полезные для беженца, осевшего на Манхэттене. Его манера изъясняться больше подходила для комнаты отдыха в каком-нибудь из оксфордских колледжей, а лицо – для библиотеки Британского музея. Он влюбился в Англию еще до Первой мировой войны, когда жил в Кракове и учился в школе. Большую часть той дури из него впоследствии повыбили. Скептические размышления о судьбах Сальвадора де Мадарьяги¹, Марио Праца², Андре Моруа и полковника Брамбла³ помогли ему переосмыслить феномен англomании. И все-таки в этом автобусе при встрече с элегантнм дикарем, который только что опустошил чужую сумочку (она так и осталась висеть открытой на плече хозяйки), мистер Заммлер снова принял английский тон. Его сухое, аккуратное, чопорное лицо заявило: «Меня это не касается. Я ничьих границ пересекать не намерен», но под мышками вдруг стало горячо и мокро. Так мистер Заммлер и висел на ременной петле верхнего поручня, зажатый между другими пассажирами, которые налегали на него своим весом и на которых, в свою очередь, налегал он. Тем временем толстошинный автобус, брюзжа, как рыхлый силач, проехал по огромному кольцу и вывернул на Семьдесят вторую улицу.

Мистер Заммлер действительно производил впечатление человека, не знающего, сколько ему лет и на каком жизненном этапе он находится. Это было заметно по его походке. По улицам он шагал быстро, энергично, до странности легко и безрассудно. На затылке развевались седые волосы. Переходя дорогу, он высоко поднимал сложенный зонтик в качестве предостерегающего сигнала для несущихся на него машин, автобусов и грузовиков. Даже рискуя быть сбитым, он не мог расстаться со своей привычкой ходить вслепую.

Примерно таким же образом безрассудство мистера Замллера проявилось и в истории с карманными кражами. Он знал, что вор «работает» на риверсайдском автобусе. Видел, как тот вытаскивает кошельки, и сообщил об этом в полицию. Но там не очень-то заинтересовались. Он почувствовал себя дураком, оттого что бросился к телефонной будке на Риверсайд-Драйв. Естественно, телефон был разбит. Изувечен, как и большинство уличных автоматов. Они чаще

¹ Сальвадор де Мадарьяга (1886–1978) – испанский дипломат, историк и журналист. Учился и преподавал в Оксфорде, сотрудничал с газетой «Таймс». Живя в Англии, поддерживал сопротивление режиму Франко. – *Здесь и далее примеч. пер.*

² Марио Прац (1896–1982) – итальянский искусствовед и литературовед. Читал лекции по итальянской литературе в университетах Великобритании и США и по англо-американской литературе – в Риме.

³ Андре Моруа (Эмиль-Саломон-Вильгельм Херцог, 1885–1967) – французский писатель, чьи произведения (прежде всего, роман «Молчание полковника Брамбла») пользовались популярностью в англоязычных странах. Во время Второй мировой войны эмигрировал в США.

использовались в качестве туалетных кабинок, чем по прямому назначению. Нью-Йорк обещал стать хуже Неаполя или Салоник. Он превращался в азиатский или африканский город, причем этот процесс затрагивал даже привилегированные кварталы. Вы могли открыть дверь, инкрустированную драгоценными камнями, и шагнуть из гиперцивилизованной византийской роскоши прямо в природное состояние, в цветной мир варварства, рвущегося снизу. А иногда оно оказывалось по обе стороны двери. Например, в сексуальном смысле. Как мистер Заммлер теперь начинал догадываться, фокус заключался в том, чтобы добиться привилегий, которые позволяют варварству свободно существовать под защитой цивилизованного порядка, прав собственности, развитых технологий и так далее. Да, наверное, все дело было в этом.

Мистер Заммлер молот себе кофе, против часовой стрелки крутя ручку квадратной коробочки, зажатой между колен. Такие повседневные действия он выполнял со своеобразной педантической неловкостью. В прежние времена, когда он жил в Польше, во Франции, в Англии, студенты и молодые джентльмены не имели обыкновения заглядывать на кухню. Сейчас ему приходилось самому делать то, что раньше делали кухарки и горничные. И он совершал это церемонно, как религиозный обряд. Признавая свое социальное падение. И крах истории. И трансформацию общества. Чувство личного унижения было здесь ни при чем. Во время войны в Польше он все это преодолел – особенно идиотскую боль утраты классовых привилегий – и теперь, насколько возможно с одним здоровым глазом, сам штопал себе носки, пришивал пуговицы, чистил раковину, весной обрабатывал спреем шерстяные вещи, чтобы убрать их до следующей зимы. Конечно, в семье были женщины: его дочь Шула и племянница жены Маргот Аркин, в чьей квартире он жил. Иногда они кое-что для него делали, если хотели. Иногда делали даже много, но это не было системой, не входило в рутину. Все рутинное мистер Заммлер выполнял сам. Пожалуй, это даже помогало ему сохранять молодость. Молодость, поддерживаемую не без трепета, который он сознавал. Ему забавно было замечать эту дрожь оживленности у старых женщин в ажурных колготках и старых мужчин, старающихся выглядеть сексуальными. Все они с готовностью, как монарху, подчинялись требованиям молодежного стиля. Власть есть власть: сюзерены, короли, боги. В поклонении им никто не знает меры. И, конечно, никто не хочет достойно и трезво мириться со смертью.

Мистер Заммлер поднял над колбой свою мельницу с намолотым кофе в выдвижном ящичке. Спираль плитки постепенно накалилась добела, издавая гневное шипение. Капельки воды заискрились. Со дна стали грациозно подниматься пузырьки-первопроходцы. Мистер Заммлер высыпал кофе в воду, а в чашку положил кусочек сахара и полную ложку сухих сливок «Прим». В прикроватной тумбочке он держал пакетик луковых булочек из магазина «Зейбарс». В полиэтиленовом пакете с белым пластиковым зажимом они были сохранены, как плод в материнской утробе. Тем более что тумбочка внутри имела медную обшивку и использовалась раньше для хранения сигар. Эта вещь принадлежала Ашеру Аркину, мужу Маргот, погибшему три года назад в авиакатастрофе. Хороший был человек, Заммлер о нем горевал. Когда вдова предложила Заммлеру поселиться в одной из комнат большой квартиры на Девяностой Западной, он спросил, можно ли ему взять сигарную тумбочку Аркина. Сентиментальная Маргот сказала: «Конечно, дядя! Прекрасная мысль! Ведь вы так любили Ашера!» Она обладала немецкой романтической натурой. У Замллера было с ней мало общего. Она ведь даже не ему приходилась племянницей, а его жене, умершей в Польше в сороковом году. Да, его покойная жена была теткой вдовы. С какой стороны ни посмотришь или ни попытаешься посмотреть – везде покойники. К такому привыкаешь не сразу.

Мистер Заммлер попил грейпфрутового сока из жестяной банки, проткнутой в двух местах. Чтобы взять ее с подоконника, он раздвинул занавески и невольно выглянул в окно: бурый песчаник, балюстрады, эркеры, кованое железо. Решетки и гофрированные водосточные трубы чернели на коричневатых фасадах, как штампы на почтовых марках в альбоме. В этом городе человеческая жизнь, облаченная буржуазной солидностью, выглядела очень тяже-

ловесной. Стремление к постоянству, выраженное такими формами, навевало грусть. Ведь мы уже полетели на Луну. Имел ли человек право на собственные ожидания, если он уподобился пузырькам в колбе с кипящей водой? Как бы то ни было, люди преувеличивали трагизм своего положения. Уделяли слишком много внимания разрушению прежних опор. То, во что раньше верили, на что надеялись, теперь покрывалось толстым слоем горькой черной иронии. Она пришла на смену чернилам буржуазной стабильности. Нет, это никуда не годилось. Оправдывая лень, глупость, поверхностность, сумасбродство и похоть, люди просто выворачивали прежние понятия о респектабельности наизнанку.

Вот о чем думал мистер Заммлер, глядя в свое окно, обращенное на восток. Он видел вздувшееся асфальтовое брюхо дороги с дымящимися пупками канализационных люков и соцветия мусорных баков на щербатых тротуарах. Пристроенные вплотную друг к другу небольшие дома из бурого песчаника. Желтый кирпич многоквартирных зданий (мистер Заммлер жил как раз в таком). Кусты телевизионных антенн – этих вибрирующих хлыстообразных металлических отростков, которые, улавливая образы из воздуха, рождали замурованных обитателей квартир. С западной стороны Гудзон отделял мистера Заммлера от нью-джерсйского промышленного гиганта «Спрай». Ночью эти буквы ярким электрическим светом прорезали темноту. Однако мистер Заммлер был наполовину слеп.

А вот в автобусе зрение служило ему хорошо. Он увидел, как совершилось преступление. И доложил копам. Но их его сообщение явно не потрясло. Надо было просто перестать ездить на том автобусе, но он, наоборот, приложил усилия, чтобы испытать это еще раз. Слонялся по площади Колумба, пока снова не заметил вора. Четыре вечера мистер Заммлер замороженно наблюдал за работой карманника. В первый раз мужественная негритянская рука залезла в дамскую сумочку: просунулась из-за спины хозяйки, приподняла замочек и легким постукиванием заставила его открыться. Потом спокойно, без всякой дрожи, отодвинула полированным ногтем большого пальца пластиковый конвертик с социальными или кредитными картами, пилки для ногтей, помаду и красные бумажные салфетки. Один щипок – и вот они, недра кошелка. За отделением для мелочи лежит зелень. Все так же неторопливо рука забрала деньги. Уверенным движением доктора, щупающего живот пациента, негр закрыл сумочку и повернул позолоченную застежку. В эту минуту собственная голова показалась Заммлеру особенно маленькой. Она скукожилась от напряжения. Стыснув зубы, он продолжал смотреть на обчищенную кожаную сумку, висящую у бедра женщины, которая (он поймал себя на этом) вызвала у него раздражение. Ничего не заметила! Вот идиотка! Живет себе с какой-то кашей в голове вместо мозгов. Ноль инстинктов, ноль знания Нью-Йорка. А вор уже от нее отвернулся. Пальто из верблюжьей шерсти, подчеркивающее ширину плеч, темные очки (настоящий Кристиан Диор), высокий отложной воротник на кнопке, плотно обхватывающий мощную шею, галстук вишневого шелка. Под африканским носом щеголевато подстриженные усы. Лишь самую малость подавшись в его сторону, Заммлер как будто бы почувствовал аромат французских духов. Заметил ли он, этот негр, что за ним наблюдают? Пошел ли за свидетелем своего преступления, чтобы узнать, где тот живет? Об этом оставалось только гадать.

Заммлеру не было дела до блеска, стиля и виртуозности преступников. Он не смотрел на них как на героев. Об этом он несколько раз говорил со своей молодой родственницей Анджелой Грунер, дочерью доктора Арнольда Грунера, живущего в Нью-Рошелле. Это был тот самый человек, благодаря которому мистер Заммлер жил теперь в Соединенных Штатах: в сорок седьмом году Арнольд (Элья) Грунер вытащил его из лагеря для перемещенных лиц в Зальцбурге и перевез через океан, потому что был обременен родственными чувствами в духе Старого Света. И потому что встретил в газете на идише, где печатали списки беженцев, имена Артура и Шулы Заммлер. Теперь дочь доктора Грунера часто навещала мистера Заммлера: психотерапевт, к которому она ходила несколько раз в неделю, принимал в соседнем доме. Анджела принадлежала к социально и человечески важной категории красивых, страстных и богатых деву-

шек. Образование получила плохое. Изучала литературу, преимущественно французскую. В Колледже Сары Лоренс⁴. Мистер Заммлер с трудом припоминал Бальзака, читанного в Кракове в 1913 году. Один из героев, Вотрен, был беглым каторжником и имел прозвище *Trompe-la-morte*⁵. Нет, романтика преступного мира не привлекала мистера Заммлера. А Анджела перечисляла деньги в фонд, нанимавший адвокатов для чернокожих убийц и насильников. Но это, разумеется, было ее личное дело.

Так или иначе, мистер Заммлер не мог не признать, что, однажды увидев, как работает карманник, он захотел увидеть это снова. Неизвестно почему. Полученное им сильное впечатление вызвало у него запретную (то есть противоречащую его собственным принципам) жажду повторения. Единственное из давно прочитанного, что он вспомнил без усилия, был тот момент в «Преступлении и наказании», когда Раскольников опустил топор на непокрытую голову старухи-процентщицы. Представив себе жиденькие седеющие волосы, смазанные маслом, заплетенные в крысиную косичку и подобранные на затылке осколком роговой гребенки, Заммлер понял, что ужас преступления делает даже самые заурядные детали яркими и запоминающимися. Зло, как и искусство, освещает то, чего касается. Заммлеру вспомнился персонаж Чарльза Лэма – китайский крестьянин, которому нужно было сжечь весь дом, чтобы отведать жареной свинины⁶. Всегда ли необходимы такие разрушения? Или огонь все-таки должен использоваться локально, целенаправленно? Как бы то ни было, едва ли можно ожидать от людей, что они перестанут устраивать пожары. Выйдя из автобуса и намереваясь позвонить в полицию, Заммлер тем не менее чувствовал: преступление, свидетелем которого он стал, обогатило его восприятие. Небо стало казаться ярче: ранний вечер, летнее время. Мир, то есть Риверсайд-Драйв, злобно озарился. Злобно, потому что сильный свет делал все слишком очевидным, а чрезмерная очевидность терзала мистера Дотошного Наблюдателя Артура Заммлера. На заметку всем метафизикам: вот так это и бывает. Яснее не увидишь. Однако что толку? В телефонной будке металлический пол, складывающиеся створки зеленой двери соединены шарнирными петлями. Но какая от этого польза, если воняет мочой, а пластиковый аппарат разбит – только обломок трубки болтается на шнуре?

Ближе чем в трех кварталах нельзя было найти исправный телефон-автомат, поэтому мистер Заммлер пошел домой. В подъезде домоуправление установило телевизионный экран, чтобы консьерж мог следить за обстановкой. Но консьерж вечно куда-нибудь отлучался. Гудящий и светящийся электронный прямоугольник показывал пустоту. Под ногами лежал респектабельный ковер цвета мясной подливки. Услужливо открылись двери лифта – блестящие захватанные медные ромбы. Войдя в квартиру, Заммлер сел в прихожей на диван, который Маргот украсила узорчатыми косынками из магазина «Вулворт», связав их уголками и пришили к старым подушкам. Мистер Заммлер набрал номер полиции и сказал:

- Я хочу сообщить о преступлении.
- О каком преступлении?
- О карманной краже.
- Минуту, я вас соединю.

После долгого гудка голос, выцветший от равнодушия или усталости, произнес:

- Да.

Мистер Заммлер решил изложить суть дела как можно более прямо, сжато и точно. Чтобы сэкономить время. И чтобы ненужными деталями не провоцировать лишних вопросов.

⁴ Нью-йоркский частный колледж, в котором до 1968 года обучались только женщины.

⁵ Обмани смерть (*фр*).

⁶ См. «Слово о жареном поросенке» (*A Dissertation upon Roast Pig*) в сборнике «Очерки Элии» (*Charles Lamb «Essays of Elia», 1823*).

– Я желаю сообщить о карманной краже в риверсайдском автобусе, – сказал он на своем польско-оксфордском английском.

– Окей.

– Сэр?

– Окей, говорю. Сообщайте.

– Преступник негр, рост – около шести футов, вес – около двухсот фунтов, возраст – около тридцати пяти лет. Внешность очень презентабельная, прекрасно одет.

– Окей.

– Я подумал, что нужно вам позвонить.

– Окей.

– Вы собираетесь что-нибудь предпринять?

– Нам полагается, разве нет? Как вас зовут?

– Артур Заммлер.

– Ладно, Арт. Где живете?

– Уважаемый сэр, я назову вам мой адрес, но сначала скажите мне, что вы намерены делать.

– А как по-вашему?

– Вы его арестуете?

– Сперва надо его поймать.

– Вы должны посадить на тот автобус кого-нибудь из сотрудников.

– Нам не хватит сотрудников, чтобы сажать их на автобусы. Людей мало, Арт, автобусов много. А еще много съездов, банкетов и других сборищ, где мы должны следить за порядком. Много шишек, которых нужно охранять. Много дамочек, которые оставляют сумки на креслах, когда идут мерить одежду в «Лорде и Тейлоре», в «Бонвите» или «Саксе».

– Понимаю. У вас нехватка кадров, и политики навязывают вам другие приоритеты. Но я могу указать вора.

– Как-нибудь в другой раз.

– Вы не хотите, чтобы я указал его вам?

– Хотим, но у нас очередь.

– И я должен в ней стоять?

– Верно, Эйб.

– Артур.

– Верно, Арт.

Артур Заммлер сидел, подавшись вперед, навстречу яркому свету лампы. Он почувствовал себя слегка травмированным, как мотоциклист, которому в лоб попал камешек. «Америка! – сказал он себе, растянув в улыбке и без того длинные губы. – Всеми вожаемая, на всю вселенную разрекламированная образцовая страна!»

– Позвольте мне убедиться, что я правильно Вас понял, сэр... то есть мистер детектив. Этот человек будет продолжать обворовывать людей, а вы не намерены ему помешать? Так?

Слова мистера Замллера были подтверждены молчанием, но не обычным. Тогда он сказал:

– До свидания, сэр.

После этого Заммлер, вместо того чтобы держаться от риверсайдского автобуса подальше, наоборот, стал ездить на нем чаще прежнего. У вора был свой маршрут, и он всегда выходил на работу роскошно одетым. Однажды мистер Заммлер заметил у него в ухе золотую серьгу и не то чтобы очень удивился, но был так впечатлен, что больше не мог молчать и после той поездки наконец рассказал Маргот, своей племяннице и квартирной хозяйке, а также Шуде, своей дочери, о красивом, наглом и высокомерном карманнике – об африканском

принце или большом черном звере, ищущем, кого бы сожрать, между площадью Колумба и площадью Верди.

Маргот заворожил рассказ дяди, а, если что-нибудь ее завораживало, она была готова обсуждать это с немецким педантизмом целый день и во всевозможных аспектах. Кто этот чернокожий человек? Откуда он родом? Каковы его классовые или расовые воззрения? Психологические особенности? Глубинные эмоции? Эстетические предпочтения? Политические взгляды? Может, он революционер? Не намерен ли он участвовать в партизанской войне за права черных? Если бы мистера Замллера не занимали собственные мысли, он не смог бы высидеть всех этих разглагольствований Маргот. Она была мила, но иногда очень утомляла: стоило ей напасть на тему и начать теоретизировать – пиши пропало. Вот почему мистер Заммлер сам молот себе кофе, кипятил воду в колбе, хранил луковые булочки в ящике для сигар и даже мочился в раковину (при этом он, приподнявшись на цыпочки, размышлял о печальной участи всего живого, вынужденного, по Аристотелю, утомлять себя постоянными потугами). Если бы мистер Заммлер не прибегал к таким хитростям, добродушные рассуждения племянницы отнимали бы у него каждое утро без остатка. Однако с него хватило того раза, когда ей вздумалось обсудить с ним тезис Ханны Арендт о «банальности зла». Тогда Маргот основательно уселась в гостиной на диване (диван был из клееной фанеры, на двухдюймовых трубчатых ножках, с трапециевидными поролоновыми подушками, обтянутыми темно-серой джинсовой тканью), и мистери Заммлеру пришлось не один час торчать перед ней, но за все это время он так и не заставил себя сказать, что думал. Во-первых, Маргот не слишком часто делала паузы, чтобы дать собеседнику возможность ответить. Во-вторых, он не знал, удастся ли ему ясно выразиться. У Маргот, как и у него, большая часть семьи была уничтожена нацистами, но сама она в тридцать седьмом унесла ноги, а он нет. Война застигла его в Польше с женой и с Шулой. Они приехали, чтобы продать наследство, полученное от тестя. Это вполне можно было предоставить юристам, но Антонина захотела лично руководить процессом. В сороковом ее убили, а оборудование с маленькой отцовской фабрики, производившей оптические приборы, демонтировали и вывезли в Австрию. После войны мистер Заммлер никакого возмещения не получил – в отличие от Маргот, которой западногерманское правительство заплатило за конфискованную франкфуртскую собственность ее семьи. Аркин оставил ей совсем немного, и она нуждалась в этих немецких деньгах. Когда человек в затруднительном положении, с ним не поспоришь. Правда, положение мистера Замллера, как Маргот понимала, было не лучше. Он пережил войну, потерял жену, потерял глаз. Тем не менее с теоретической точки зрения дядя и племянница могли обсуждать вопрос о банальности зла. Только как вопрос. Вернее, племянница говорила, а дядя Артур сидел, задрав колени, в низком кресле наподобие укороченного шезлонга. Затемненные очки и кустистые брови заслоняли его глаза, на шишковатом лбу проступила вилка вен, а большой рот упорно молчал.

– Идея в том, – сказала Маргот, – что тут нет великого духа зла. Те люди сами по себе были совершенно незначительны: представители низшего класса, рядовые исполнители, мелкие бюрократы, даже люмпен-пролетарии. Масса не производит гениальных преступников, потому что разделение труда разрушило идею ответственности. Люди приучены мыслить дробно и вместо леса с могучими деревьями видят отдельные растения со слабыми корнями. Цивилизация больше не производит великих индивидуальностей.

Покойный Аркин, вообще-то очень мягкий человек, умел заткнуть Маргот. Это был высокий представительный мужчина с усами, полуоблысевший обладатель тонкого ума. Преподавал политическую теорию в Колледже Хантера – женщинам. Очаровательные сумасбродные идиотки – так он называл своих студенток. Время от времени среди них встречались умницы, но все они, бедняжки, были очень злы, очень склонны на все жаловаться и слишком заиклены на своем поле. Когда Аркин летел в Цинциннати читать лекции в каком-то еврейском колледже, его самолет потерпел крушение. С тех пор Заммлер стал замечать у Маргот тенденцию

подражать покойному мужу. Тоже углубившись в политическую теорию, она стала говорить от его имени то, что, как ей думалось, сказал бы по тому или иному поводу он сам, а защитить его подлинные идеи было некому. Та же участь постигла в свое время Сократа и Иисуса. Надо признаться, при жизни Аркину в какой-то степени даже нравилась мучительная болтовня Маргот. Он не без удовольствия слушал эти ее глупости, улыбаясь в усы, держась длинными руками за края трапециевидных подушек и скрестив ступни в носках (обувь он скидывал, как только садился на диван). Но, когда ему надоедало, он говорил: «Хватит, довольно веймарского шамльца⁷. Кончай, Маргот». Вот уже три года его голос не произносил этих мужественных слов, после которых в нелепо обставленной гостиной воцарялась тишина.

Маргот была маленькая, кругленькая, полная. Носила черные чулки в сеточку, подчеркивающие привлекательную тяжесть ляжек. Когда сидела, выставляла вперед одну стопу, побалетному выгнув подъем, и упиралась крепким кулачком в бедро. Однажды в разговоре с дядей Заммлером Аркин обмолвился, что она может быть первоклассным орудием, если направить ее в нужную сторону. Дескать, душа у нее добрая, но природную доброту иногда ужасно дурно используют. Заммлер соглашался с такой оценкой. Его племянница не могла вымыть помидор, не замочив рукавов, а однажды квартиру ограбили, потому что Маргот любовалась закатом и забыла закрыть окно. Воры проникли в столовую с соседней крыши. Сентиментальной ценности украденных медальонов, цепочек, колечек и других семейных реликвий страховая компания не признала. После этого окна были заколочены и наглухо зашторены. Ели с тех пор при свечах. Света едва хватало, чтобы мистер Заммлер мог видеть рамки с репродукциями картин из Музея современного искусства и саму Маргот: как она наполняет тарелки, пачкая скатерть, как белеют в темноте ее мелкие, не совсем ровные зубы, открытые в очаровательной нежной улыбке, как синеют ее бесхитростные глаза. Она была докучливым созданием: веселая, энергичная, целеустремленная, неуклюжая. Никогда не отмывала дочиста чашки и столовые приборы. Забывала смывать в унитазе. Но с этим мистер Заммлер легко мирился. Что ему действительно досаждало, так это основательность Маргот, то есть ее привычка с немецкой упертостью обсуждать весь подлунный мир. Этой женщине как будто было мало того, что она еврейка. В то же время бедолага умудрялась быть еще и немкой.

– Ну так каково ваше мнение, дорогой дядя Заммлер? – спросила Маргот наконец. – Я знаю, вы много об этом размышляли. Вы столько пережили... Ашер не раз обсуждал с вами того сумасшедшего из Лодзи – Короля Румковского⁸... так что вы думаете?

Лицо дяди Замлера неплохо сохранилось для семидесяти с лишним лет: компактные щеки, более или менее здоровый цвет кожи, не очень много морщин. Только левая сторона, слепая, была исчерчена длинными линиями, похожими на трещины в стекле или на ледяной корке.

Отвечать смысла не имело. Ответ породил бы продолжение дискуссии, потребовал бы новых объяснений.

И все-таки человеческое существо обратилось к мистру Заммлеру с вопросом, а он был старомоден и считал, что этикет требует от него какой-то реакции.

– Сделать так, чтобы величайшее преступление века выглядело заурядно, – это уже само по себе не банально. Политически и психологически немцы гениально все организовали. Банальность была только камуфляжем. Ведь нет лучшего способа отвести от себя проклятие, чем придать своему преступлению обыденный, скучный вид. Они нашли этот выход благодаря ужасающему политическому озарению, которое на них снизошло. Интеллектуалам не понять. Интеллектуалы получают представление о подобных вещах из книг и думают, будто все злодеи

⁷ От нем. *Schmalz* — топленое сало; сентиментальщина, безвкусица.

⁸ Хаим Румковский по прозвищу Король (1877–1944) – глава юденрата (еврейского совета) лодзинского гетто. Проявлял лояльность по отношению к нацистам, мотивируя свое сотрудничество с ними желанием минимизировать количество жертв. Убит в Освенциме.

– Ричарды III. Но разве сами нацисты могли не знать, что такое убийство? Все (за исключением некоторых синих чулков) знают, что такое убийство. Это старейшее человеческое знание. Испокон веков лучшие, чистейшие умы понимали: жизнь священна. Оспорить эту древнюю истину – не банальность, а заговор против святости жизни. Банальность – лишь маскировочный костюм, в который мощная воля облачилась, чтобы подавить совесть. Можно ли такой проект назвать заурядным? Только если считать, что сама человеческая жизнь заурядна и ничего не стоит. Подлинный враг этой профессорши, автора книги, – современная цивилизация. Она, эта дама, просто использует нацистскую Германию, чтобы напасть на весь двадцатый век и обличить его при помощи немецкой терминологии. Трагическая история служит ей удобным орудием для развития глупых идей веймарских интеллектуалов.

«Аргументы! Объяснения! – думал Заммлер. – Все будут объяснять все всем до тех пор, пока не подоспелет новая общепризнанная интерпретация мироустройства. Эта интерпретация – осадок всего того, что люди говорили друг другу на протяжении века, – будет фикцией, как и ее предшественница. Может быть, она вберет в себя больше элементов реальности. Но это не так важно. Важно стремление вернуть жизни прежнюю полноту, возвратить ее к норме насыщенной удовлетворенности. Всякое затхлое старье надо, само собой, отбросить. Тогда мы станем ближе к природе, а это необходимо: нужно чем-то уравновешивать достижения современного Метода. Немцы превосходно развивали его в промышленности и на войне. Чтобы иногда отвлекаться от рациональности: от подсчетов, машин, планирования, техники – они развивали романтизм, мифоманию, своеобразный эстетический фанатизм. Все это, в свою очередь, тоже превратилось в подобие машины: эстетической, философской, мифотворческой, культурной. Механистичность предполагает системность, а системе нужны посредственности, не гении. Она основывается на труде. Труд, взаимодействуя с искусством, порождает банальность. Отсюда проистекает чувствительность образованных немцев ко всему банальному. Оно обнажает закономерность, закономерную власть Метода, которому они так подчиняются». Заммлер все это понимал. Зная, как опасны объяснения и какой подлостью они чреватые, он сам тем не менее был весьма неплохим объяснителем. Однако в том, что касалось немцев, он никогда не доверял слишком сильно своему суждению. Даже в те стародавние времена, в благословенные двадцатые и тридцатые, когда он был «британцем»: жил на Грейт-Рассел-стрит, с симпатией воспринимал «британские» взгляды и водил знакомство с Мейнардом Кейнсом, Литтоном Стрейчи и Гербертом Уэллсом. Даже до того как его стиснула своими клещами человеческая физика войны и он ощутил ее объемы, ее вакуумы, ее пустоты, ее динамику и ее прямое воздействие, биологически сопоставимое с процессом родов. Веймарская республика никогда и никоим образом не привлекала его. Правда, было исключение: он восхищался ее Планками и Эйнштейнами. Но больше, пожалуй, никем.

В любом случае Заммлер не собирался пополнять ряды добродушных европейских дядюшек, с которыми племянницы вроде Маргот могут целыми днями вести интеллектуальные беседы. Ей было бы в радость, если бы он ходил за нею хвостом по квартире и они обсуждали бы все подряд битых два часа, пока она разбирает купленные продукты, ищет в холодильнике салями и короткими сильными руками заправляет постель (после смерти мужа Маргот благоговейно поддерживала интерьер спальни в неизменном виде: хранила крутящееся кресло Ашера, его скамеечку для ног, его Гоббса, Вико, Юма и Маркса с карандашными пометками). Если мистери Заммлеру и удавалось ввернуть словцо в монолог племянницы, оно тут же обводилось в кружок и вычеркивалось. Маргот продолжала наседать, неудержимая в своей благонамеренности, причем вполне искренней (в том-то все и дело). В любом важном общечеловеческом вопросе эта славная женщина была беспредельно, безнадежно, до боли права. Шла ли речь о творчестве, о молодежи, о черных, о бедных, об угнетенных, о жертвах насилия, о грешниках или о голодных, она всегда стояла на правой, на самой правой стороне.

Однажды Ашер Аркин обронил фразу, о которой мистер Заммлер продолжал думать даже через три года после его смерти. «Я научился, – сказал он, – делать хорошие вещи так, будто предаюсь пороку». Наверное, говоря это, Ашер думал о Маргот как о партнерше в сексе. Вероятно, она пробуждала в нем эротическую изобретательность, благодаря которой моногамия превращалась в нечто завораживающе смелое. Без конца поминая Ашера, Маргот называла его на немецкий манер – «мой мужчина»: «Когда мой мужчина был жив... Мой мужчина говорил...»⁹ Заммлер жалел овдовевшую племянницу. Ругать ее он мог бы бесконечно: претендуя на возвышенную интеллектуальность, она утомляла его, жесточайшим образом отнимала у него время, нарушала ход его мыслей, испытывала его терпение. То, что Маргот говорила, то, что приносила в квартиру, и то, что взращивала, – все было сплошной мусор. Взять, к примеру, растения, которые она пыталась разводить. Она сажала в горшки косточки авокадо и лимонов, горошины и картофелины. Все это давало на редкость никчемные чахлые ростки. Ветки кустарников и плети вьюнов валялись на земле, безуспешно пытаясь подняться по веревочкам, которые садовод-оптимистка веерообразно крепила к потолку. На стебельках авокадо, напоминающих перегоревшие бенгальские огни, торчали редкие паршивые листочки – острые, ржавые, изъязвленные. Все это ботаническое уродство, бесконечно окучиваемое вилкой и поливаемое, требующее так много труда, души и надежды, явно о чем-то свидетельствовало, разве не так? Эти факты жизни, безусловно, несли в себе какие-то смыслы, но какие – оставалось только догадываться. Маргот мечтала превратить свою гостиную в зеленую беседку, шатер из блестящих листьев и цветов, средоточие красоты и свежести, где женщина могла бы чувствовать себя этакой герминатриссой¹⁰, матриархом клумб и резервуаров. Желание лелеять свой сад роднило ее со всем человечеством, которое, помешавшись на символах, само не знало, что хотело сказать. Вместо желаемого великолепия у Маргот получался веер из лысых перьев. Ни павлиньих переливов лилового, ни лазури, ни настоящей зелени – только какие-то пятна перед глазами. Может быть, чахлые растения спасались ощущением человеческого тепла? Не факт... От неослабевающего напряжения аналитических усилий у мистера Замллера разболелась голова. Нет, эти измученные ростки все-таки не могли отблагодарить Маргот за ее усилия. Вот что самое печальное. Им не хватало света, зато шума и суеты, наоборот, было слишком много.

Впрочем, если говорить о суете, то здесь никто не сравнится бы с Шулой – дочерью мистера Замллера. Несколько лет он жил с нею вместе в квартирке чуть восточнее Бродвея. На вкус старого отца, у этой особы было многовато причуд. Она страстно коллекционировала вещи. Или, проще говоря, шарила по помойкам. Мистер Заммлер не раз видел, как дочь рылась в бродвейских мусорных баках (то есть, как он до сих пор предпочитал говорить, в «пыльных корзинах»¹¹). Она была не стара, не дурна собой и даже не плохо одета, если рассматривать каждую вещь в отдельности. В целом же ее наряды казались вульгарными. Вернее, казались бы, не будь она столь явной сумасбродкой. Шула могла надеть грубую гватемальскую вышитую рубаху с широким кожаным поясом и мини-юбкой, зеленой, как сукно бильярдного стола (ноги, которые она таким образом выставляла напоказ, свидетельствовали о внешней сексуальности при отсутствии внутренней чувственности), а на голову напялить такой парик, в каком пародист, изображающий женщину, пришел бы, наверное, веселить публику на съезде работников торговли. Собственные волосы, мелко вьющиеся, приводили Шулу в бешенство. Она жаловалась, что они жидкие и «как будто мужские». Первое было справедливо, второе – нет. Волосами дочь мистера Замллера пошла в его мать – женщину истерического склада, в чьей

⁹ Используемое Маргот существительное *man* («мужчина, человек») в современном английском языке реже употребляется в значении «супруг», чем существительное *Mann* («мужчина, муж») – в современном немецком.

¹⁰ От лат. *germen* – «зародыш, плод; порождение, потомство».

¹¹ Как бывший «лондонец», мистер Заммлер использует слово *dustbin* (*dust* – «пыль», *bin* – «корзина, контейнер»), более распространенное в британском, нежели в американском варианте английского языка.

натуре точно не было ничего мужского. Это, однако, не мешало волосам Шулы порождать затруднения сексуального свойства, да еще какие! Воображаемая ось проблем брала начало у тревожного «вдовьего мыска» на лбу, шла по носу (изначально правильному, но постоянно искажаемому гримасами), пересекала пухлые темно-красные губы (которые вечно говорили глупости) и, спустившись по шее, исчезала между грудями. Заммлер много раз слушал рассказ дочери о том, как она отнесла свой парик к хорошему парикмахеру, чтобы подправить, а тот воскликнул: «Пожалуйста, уберите это! Я не могу работать с такой дешевкой!» Шла ли речь о единственном случае со стилистом-гомосексуалистом или подобное происходило неоднократно, Заммлер не знал. В дочери ему многое было непонятно. Факты, которые к ней относились, отказывались складываться в сколько-нибудь связную картину. Парик, например, – это атрибут ортодоксальной религиозности. Шула действительно имела некоторое отношение к иудаизму. Она знала многих известных раввинов в Ист-Сайде и в районе Восьмой авеню севернее площади Колумба. Ходила в разные синагоги на службы и на бесплатные лекции. Заммлер понятия не имел, откуда у нее берется для этого терпение. Сам он ни на какой лекции не мог выдержать дольше десяти минут, а Шула сидела и слушала: большие, умные, лунатические глаза широко раскрыты, лицо как текстовый баллон в комиксе, кожа покраснела от напряженного внимания, юбка замялась, между колен зажата холщовая сумка с помойными трофеями: старыми вещами, купонами, рекламными листовками. Когда лекция заканчивалась, Шула первой начинала задавать вопросы. Она знакомилась с раввином, его женой и другими членами семьи, вступала с ними в дадаистские дискуссии о вере, о религиозной обрядовости, о сионизме, о крепости Масада, об арабах. Однако бывали у нее и христианские периоды. В польском монастыре, где Шула пряталась четыре года, ее звали Славой, и временами она отзывалась только на это имя. Почти всегда праздновала католическую Пасху, а в Пепельную среду отец не раз видел между ее бровей пятно сажи¹². Маленькие еврейские завитки, выбивающиеся из-под парика возле ушей, кричащая бордовая помада на губах – скептически искривленных, вечно кого-то или что-то обвиняющих... Всем своим внешним видом Шула словно старалась погромче заявить о собственном существовании. О том, что, кем бы она ни была, она имела на это право. Ее рот, полный комментариев по любому поводу, подхватывал безумные идеи, излучаемые темными глазами. Пожалуй, совсем сумасшедшей Шулу считать не следовало, однако она запросто могла заявить, будто ее сбили с ног конные полицейские в Центральном парке: они преследовали оленя, сбежавшего из зоопарка, а она увлеклась статьей в иллюстрированном журнале и попала прямо под копыта их лошадей. Несмотря ни на что Шула была веселой. Для Замллера даже слишком. Целыми ночами стучала на машинке и при этом пела. Она печатала для доктора Грунера – родственника, который придумал эту должность машинистки специально для нее. Десять лет назад Грунер, можно сказать, спас Шулу-Славу, отправив Замллера в Израиль, где она тогда жила, чтобы он увез ее в Нью-Йорк от помешанного (под стать ей самой) мужа Айзена.

Это была первая поездка Замллера на землю обетованную. Короткая. По семейному делу.

Необыкновенный, даже ослепительный красавец Айзен был ранен в Сталинграде. Потом, в Румынии, его сбросили с движущегося поезда, на котором он ехал вместе с другими покалеченными ветеранами. Сбросили, видимо, потому что он был евреем. Тогда Айзен отморозил ноги, и ему пришлось ампутировать пальцы.

– Ой, там все были пьяные, – сказал он Заммлеру в Хайфе. – Хорошие парни – товарищи. Но вы знаете, во что превращаются русские, как выпьют пару стаканов водки.

¹² В некоторых католических и англиканских приходах сохранился обычай в Пепельную среду, первый день Великого поста, посыпать головы верующих пеплом или крестообразно помечать лбы сажей в знак покаяния.

Айзен осклабился. Черные кудри, красивый римский нос, острые зубы, бессмысленно поблескивающие под пленкой слюны. Беда была в том, что он частенько бил Шулу-Славу, в том числе и ногами. Начал прямо в медовый месяц. Теперь старый Заммлер сидел в тесной квартирке с белеными стенами, вдыхал запах камня и смотрел в окно на ветку пальмы, которая чуть покачивалась в теплом прозрачном воздухе. Шула готовила по мексиканской кулинарной книге: растапливала горький шоколад для соуса, посыпала куриные грудки тертым кокосом и жаловалась, что в Хайфе не купишь чатни.

– Когда меня сбросили, – сказал Айзен бодро, – я решил пойти повидать Папу. Взял палку и поковылял в Италию. Палка была моим костылем, как вы понимаете.

– Понимаю.

– И вот пришел я в Капель-Гандольфо¹³. Папа принял нас очень любезно.

За три дня мистер Заммлер убедился, что дочь нужно отсюда забирать. Сам он долго оставаться в Израиле не мог. Не хотел тратить деньги Эли Грунера. Но в Назарете все-таки побывал и в Галилею на такси съездил: это было интересно с исторической точки зрения и притом недалеко. На песчаной дороге мистер Заммлер встретил гаучо: в большой плоской шляпе, завязанной под крупным подбородком, в широких аргентинских штанах, заткнутых в ботинки, с подкрученными усами, как у актера Дугласа Фейрбэнкса, он стоял в загоне за проволочной сеткой и готовил корм для маленьких созданий, которые бегали вокруг него. Сверкающая на солнце, прозрачная вода из шланга увлажняла содержимое корыта, отчего на желтой кормовой смеси появлялись оранжевые пятна. Упитанные зверьки двигались проворно. Это были нутрии. Из их блестящего густого меха в странах с холодным климатом шили шапки. И шубки для дам. Мистер Заммлер, чье лицо раскраснелось от галилейского солнца, остановился у сетки. Басовитым голосом бывалого путешественника, держа дымящуюся сигарету между волосатых костяшек у волосатого уха, он завел с гаучо беседу. Ни тот ни другой не владели ни ивритом, ни языком Иисуса. Мистер Заммлер заговорил на итальянском. Разводчик нутрий по-аргентински угрюмо закивал, не поднимая красивого тяжелого лица (нужно было следить за жадными зверьками, которые суеились вокруг его ботинок). Он оказался бессарабско-сирийско-южноамериканским испаноязычным израильским ковбоем из пампасов. Сам ли он убивал своих нутрий? Заммлеру, говорившему по-итальянски довольно плохо, захотелось это узнать.

– *Uccidere?*¹⁴ *Ammazzare?*¹⁵

Гаучо понял. Да, когда приходит время, он убивает их сам. Ударом палкой по голове. Не жалко ли ему делать это со своими подопечными, которых он знает от рождения? Не испытывает ли он нежности к ним? Есть ли у него среди них любимчики? На все эти вопросы гаучо ответил отрицательно. Сказал, покачивая своей красивой головой, что нутрии очень глупы:

– *Son muy tontos.*

– *Arrivederci*, – попрощался с ним Заммлер.

– *Adios*. Шалом.

Потом такси отвезло мистера Заммлера в Капернаум, где Иисус проповедовал в синагоге и откуда можно было увидеть Гору Блаженств¹⁶. Даже двух здоровых глаз не хватило бы, чтобы воспринять всю тяжесть и гладкость цвета, с трудом разрезаемого рыбацкими лодками. Вода, необычайно плотная, казалась голубеющим провалом под голыми сирийскими высотами. Мистер Заммлер стоял среди струящейся листвы низких банановых деревьев, и сердце его разрывало странные чувства.

¹³ Летний дворец папы римского. Расположен в одноименном городе на озере Альбано, недалеко от Рима.

¹⁴ Убивать (*um.*).

¹⁵ Резать, забивать (*um.*).

¹⁶ Холм в Галилее, с которого была произнесена Нагорная проповедь.

На этот горный склон крутой
Ступала ль...¹⁷

В отличие от холмов Англии, те холмы, на которые смотрел сейчас мистер Заммлер, вовсе не были зелены. Они были красноватыми и лысыми, как змеи. Их недра проглядывали сквозь дымные отверстия пещер, а над ними полыхали огни, зажженные таинственной нечеловеческой силой.

Мистеру Заммлеру показалось, будто хранимые его памятью события и впечатления открепилась от своих мест во времени и пространстве, утратив привычное религиозное и эстетическое значение. Человечество впало в болезненное и унижительное состояние непоследовательности: стили смешались, несколько жизней слились в одну. Все отдельные потоки людских существований оказались объяты общим опытом. Все исторические эпохи стали одновременными. Вынужденный принимать и регистрировать такой огромный объем, такую массу информации, слабый человек утратил способность улавливать общий замысел.

Это было первое путешествие мистера Замллера на Святую землю. Через десять лет он опять туда отправится, но уже с другой целью.

А тогда Шула вернулась с ним в Америку, спасшись от мужа, который лупил ее за посещение католических церквей и за вранье (ложь приводила Айзена в ярость, из чего тесть заключил, что у него паранойя: из всех психов именно параноики – самые страстные поборники чистой истины). В Нью-Йорке Шула-Слава занялась ведением домашнего хозяйства. Вернее, начала создавать в Новом Свете величайшее средоточие хаоса. Мистер Заммлер, вежливый Слим-Джим¹⁸, как звал его доктор Грунер, был заботливым отцом и бормотал слова благодарности каждый раз, когда получал в подарок какую-нибудь ерунду. И все-таки иногда он бывал вспыльчив, а, если его спровоцировать, мог даже стать довольно агрессивным. Собственно говоря, когда он обратился к западногерманскому правительству с просьбой о возмещении ущерба, он имел в виду не только свой глаз, но и свои нервы. Приступы его ярости были редки, но сокрушительны и оканчивались сильнейшей мигренью. Как человек, перенесший эпилептический припадок, он по нескольку дней неподвижно лежал в темной комнате, сцепив руки на груди. Чувствуя себя сплошным болезненным синяком, не мог отвечать, когда с ним заговаривали. Пока они с Шулой-Славой жили вместе, мистер Заммлер часто оказывался в таком состоянии. Прежде всего, он терпеть не мог тот дом, в котором Грунер их поселил. Каменное крыльцо как будто сползло на соседний подвал (китайскую прачечную), а войдя в подъезд, мистер Заммлер сразу чувствовал себя больным: плитки желтели, как зубы, на безнадежно грязных стенах, в лифте воняло. Не многим уютнее было и в квартире. В ванной Шула держала купленного в магазине «Кресге» пасхального цыпленка, который постепенно превратился в курицу, громко кудахчущую на краю ванны. Рождественские украшения висели до весны. Да и сами комнаты напоминали пыльные фонарики из красной бумаги, складки на складках. Однажды, когда курица принялась топтать своими желтыми ногами документы и книги мистера Замллера, чаша его терпения переполнилась. Он понимал, что солнце светит и небо голубое, но громада многоквартирного дома, тяжеловесной неправильностью формы напоминавшая барочную вазу, угнетала его. Сидя в комнате на двенадцатом этаже, мистер Заммлер почувствовал себя запертым в посудном шкафу и, увидев, как дьявольские куриные ноги, желтые и сморщенные, портят когтями его бумаги, он закричал.

¹⁷ «На этот горный склон крутой / Ступала ль ангела нога? / И знал ли Агнец наш Святой / Зеленой Англии луга?» – первая строфа стихотворения Уильяма Блейка «Иерусалим» (1804, из предисловия к поэме «Мильтон»). Положенный на музыку после Первой мировой войны, этот гимн стал одной из самых популярных английских патриотических песен. Цитата приведена в переводе С. Я. Маршака.

¹⁸ *Slim-Jim* (англ.) – букв. «худой Джим», кожа да кости.

После этого Шула-Слава согласилась, что ему лучше съехать. Всем знакомым она стала говорить, будто с ее отцом трудно сосуществовать в одной квартире, потому что он поглощен главным делом своей жизни – мемуарами о Герберте Уэллсе. Образ Герберта Уэллса прочно засел в ее сознании, разросшись до внушительных размеров. Это был самый титулованный человек из всех, кого она знала. До войны, когда Заммеры жили в Блумсбери, на Уоберн-сквер, маленькая Шула, как и многие дети, обладала гениальной чуткостью к страстям своих родителей: к их снобизму, к тому, как они гордятся именитыми друзьями, как ценят возможность видеть возле себя цвет английской культуры. Теперь, когда старый Заммер вспоминал жену, ему часто приходили на память ее слова: «Нас связывают самые близкие отношения с лучшими людьми Британии». Она произносила это тихим грудным голосом и легко проводила рукой сверху вниз, как будто глядя воздух. Нужно было знать ее очень хорошо, чтобы подметить, сколько в этом жесте хвастовства. Удовлетворенное тщеславие, этот маленький грешок, действовал на Антонину почти как питательное снадобье, улучшающее пищеварение: кожа становилась мягче, волосы глаже, цвет лица насыщеннее. Да, делая маленькие шажки вверх по социальной лестнице, Антонина становилась привлекательнее (в частности, пухлее между ног – иногда на Замлера накатывали подобные воспоминания, и он уже не пытался их от себя отгонять). Это преобразование было обусловлено женской природой. Любовь – мощнейшее косметическое средство, но есть и другие. Так что девочка вполне могла наблюдать, какое социально-эротическое воздействие оказывало на ее маму одно лишь упоминание имени Герберта Уэллса. Даже не думая судить своего прославленного знакомого и вспоминая о нем с неизменным уважением, Заммер не мог отрицать, что это был сладострастный человек, блуждавший в лабиринте своей невероятной чувственности. Как биолог, как мыслитель, обремененный раздумьями о власти, о судьбе общества и о новом миропорядке, как поставщик идей для обсуждения в интеллектуальной среде – во всех этих качествах он постоянно требовал для себя сексуальной подпитки. Сейчас Уэллс представлялся Заммеру англичанишкой из низов, немолодым мужчиной, постепенно утрачивающим и способности, и привлекательность. Неудивительно, что, расставаясь с женскими грудями, губами и драгоценными эротическими соками, бедный Уэллс – учитель от природы, сексуальный освободитель, гуманист, благословитель человечества – бился в агонии. Потому-то перед смертью он только и мог, что ругать и проклинать всех на свете¹⁹. Разумеется, он писал такие вещи, угнетенный болезнью и ужасами Второй мировой войны.

То, что Шула-Слава говорила об отце, забавным образом возвращалось к нему через Анджелу Грунер. Шула время от времени наведывалась в Верхний Ист-Сайд, где ее родственница жила жизнью красивой, свободной и состоятельной женщины. Шула восхищалась идеальной нью-йоркской квартирой Анджелы, очевидно, не испытывая при этом ни зависти, ни смущения. Не переставая воодушевленно морщить бледное лицо (своеобразную антенну, принимающую и излучающую дикие мысли), она, обладательница парика и неизменной холщовой сумки, неуклюже сидела в суперкомфортном кресле и пачкала фарфор помадой. Итак, по версии Шулы, беседы ее отца с Гербертом Уэллсом продолжались несколько лет. В тридцать девятом году папа увез свои заметки в Польшу, чтобы в свободное время написать на их основе мемуары. Как только он туда приехал, страна взорвалась, и его записи поглотил гейзер, поднявшийся на милю или даже две – до самого неба. Но он знает их наизусть (еще бы – с его-то памятью!) и, стоит только задать ему вопрос, мгновенно ответит, что говорил Герберт Уэллс о Ленине и Сталине, о Муссолини и Гитлере, о мире, об атомной энергии, об «Открытом заговоре»²⁰, о колонизации планет. Папа может выдавать целые абзацы текста, только, конечно,

¹⁹ В 1941 году, за пять лет до смерти, Герберт Уэллс написал в предисловии к роману «Война в воздухе», что его эпитафией должны стать слова: «Я же вам говорил! Чертовы дураки!»

²⁰ «Открытый заговор: план мировой революции» (*The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution*) – публицистическое произведение, опубликованное Гербертом Уэллсом в 1928 году.

ему нужно сосредоточиться. Шула думала-думала, пока не придумала, что он должен пере-ехать к Маргот. И он переехал, чтобы ему проще было сосредотачиваться. Папа говорит, ему недолго осталось, но это он прибедняется. Он ведь такой красивый и до сих пор очень хорошо выглядит. Овдовевшие пожилые женщины всегда о нем спрашивают. Мать равви Ипсхаймера, например. Вернее, наверное, бабушка. Ну так вот. (Анджела продолжала передавать монолог Шулы.) Уэллс порассказал Заммлеру такого, о чем мир до сих пор не знает. Эти сведения, когда их наконец опубликуют, произведут сенсацию. Книга будет составлена по образцу столь любимых Заммлером «Диалогов с Уайтхедом»²¹.

Голос у Анджелы был низкий, с хрипотцой и с легким призывом насмешливой дерзости. Тонем, граничащим с грубоватостью, но не пересекающим грани, она (шикарная женщина!) сказала:

– Для Шулы вся эта история с Гербертом Уэллсом – нечто вроде культа. Вы правда были с ним так близки, дядя?

– Мы были хорошо знакомы.

– Вы считали его своим приятелем? Закадычным другом?

– Ох, моя дорогая девочка, я хоть и старый человек, но все-таки живу в нынешнем веке.

Ни Давида с Ионафаном, ни Роланда с Оливье²² сегодня никто не назвал бы закадычными друзьями. Общество Уэллса было мне очень приятно. Ему, кажется, тоже нравилось разговаривать со мной. Если тебя интересуют его идеи, то он представлял собой просто кладезь умнейших мыслей и постоянно ими фонтанировал. Все, что он говорил, потом появлялось в его книгах. Он был графоманом, как Вольтер. Его разум никогда не бездействовал, ему казалось, что он все должен объяснять, и иногда он действительно хорошо с этим справлялся. Взять, к примеру, его фразу: «Наука – ум человечества». Это ведь правда! Если уж рассматривать что-то как явление коллективное, то пусть это будет наука, а не болезнь или порок. Когда я смотрю на крыло реактивного самолета, я вижу не просто металл, но металл, укрощенный множеством согласных друг с другом умов, которые при помощи своих логарифмических линеек рассчитали давление, скорость, вес и все такое прочее. И неважно, чьи эти умы: китайские, индийские, конголезские или бразильские. Да, в общем, Уэллс был, конечно же, очень умным и здравым человеком, который высказывал верные суждения по очень многим вопросам.

– И вам было с ним интересно.

– Да, мне было с ним интересно.

– Но Шула говорит, вы пишете великую книгу со скоростью миля в минуту.

Произнеся эти слова, Анджела рассмеялась. То есть не просто рассмеялась, а рассмеялась ослепительно. Тот, кто общался с этой девушкой, встречал натиск никогда не ослабевающей чувственной женственности, которая даже имела свой запах. Анджела носила диковинные стильные вещи, которые Заммлер разглядывал сухо и отстраненно, как будто бы с другого конца вселенной. Что это за белые кожаные котурны? Что за полупрозрачные колготки? Зачем это все? А эта странная парикмахерская манипуляция – мелирование? Волосы как на подбородке у львицы... А эта развязная поза, благодаря которой бюст выпирает еще сильнее? Рисунок на виниловом плаще навеян кубистами или Мондрианом: черные и белые геометрические фигуры. Брюки от Куррежа или Пуччи. Заммлер наблюдал стремительное развитие женской моды на страницах «Таймс» и тех журналов, которые присылала ему сама Анджела. Но наблюдал не слишком пристально. Таким чтивом увлекаться не следовало. Оберегая зрение, Заммлер быстро листал страницы перед здоровым глазом. При этом на большом лбу регистрировались стимулы, возникающие в мозге. А травмированный глаз словно бы смотрел в

²¹ Упомянутая книга (*Dialogues of Alfred North Whitehead*, 1956) представляет собой сборник интервью английского математика и философа Альфреда Норта Уайтхеда (1861–1947), записанных американским журналистом Люсьеном Прайсом.

²² Персонаж «Песни о Роланде», близкий друг заглавного героя.

другую сторону, занятый чем-то своим. Благодаря такому листанию, Заммлер знал об Уорхолье, о Малышке Джейн Хольцер²³ в пору ее короткого взлета, о «Живом театре», о все более и более смелом показе обнаженного тела в искусстве, о «Дионисе 69»²⁴, о совокуплениях на сцене, о философии «Битлз», о световых шоу и о минимализме в живописи. Анджела была состоятельной независимой женщиной за тридцать. Розовая кожа, золотисто-беловатые волосы, большие губы. Боялась располнеть, поэтому периодически постилась, а в промежутках ела, как портовый грузчик. Ходила в модный спортивный клуб. Знала свои проблемы, которые мистери Заммлеру тоже приходилось знать, ведь она являлась к нему и подробно их живописала. А вот его проблемы были ей неизвестны. Он редко о них говорил, она редко спрашивала. Кроме того, он сам и его дочь были пенсионерами ее отца. Или иждивенцами – называй как хочешь. Поэтому от своего психотерапевта Анджела шла напрямиком к дяде Заммлеру, чтобы проанализировать результаты сеанса. Из этих семинаров он узнавал, что и с кем она делала и какие чувства при этом испытывала. Приходилось выслушивать все, чему эта леди могла придать словесную форму. Выбора не было.

В гимназические годы Заммлер перевел из Блаженного Августина: «Дьявол основал свои города на севере». Впоследствии ему часто вспоминались эти слова. Сейчас он понимал их не так, как в Кракове перед Первой мировой войной. Тогда ему представлялась непроглядная тьма еврейских улиц и двухдюймовый слой унылой желтой грязи на брусчатке. Людям нужны были свечи, лампы, медные чайники и лимонные дольки – в них они видели солнце. Борьба с мраком велась при помощи неизменных атрибутов Средиземноморья. Темной среде противопоставлялись заимствованные у других культур религиозные символы и местные домашние радости. Без силы севера, без его шахт и заводов, мир не приобрел бы своего потрясающего современного облика. Что бы там ни говорил Августин, Заммлер всегда любил северные города, особенно Лондон с его благословенной мглой, угольным дымом, серыми дождями и теми возможностями, которые получал человеческий разум в этой темной туманной атмосфере. Там можно было смириться и с недостатком света, и с блеклостью красок, и с неполной ясностью ума, и с непрозрачностью мотивов. Но теперь странный тезис Августина требовал нового истолкования. Внимательно слушая Анджелу, мистер Заммлер понимал, что эра пуританского труда подходит к концу. «Темные фабрики сатаны»²⁵ сменяются светлыми фабриками сатаны, распутники превращаются в детей радости, эмансипированные массы Нью-Йорка, Амстердама и Лондона перенимают сексуальные обычаи сералей и конголезских джунглей. Ох уж этот старик Заммлер со своими эксцентрическими видениями! Триумф Просвещения представлялся ему торжеством Свободы, Равенства, Братства и Прелюбодеяния. Всеобщее образование, всеобщее избирательное право, признанные всеми правительствами права большинства, права женщин, права детей, права преступников, признанное единство различных рас, социальное страхование, здравоохранение, неприкосновенность человеческого достоинства, правосудие... Борьба, которую вели революционеры трех веков, выиграна. Ослабили феодальные религиозные оковы и семейные узы. Широкие слои населения получают возможности (но не обязанности) аристократии. Особенно активно демократизируются сексуальные привилегии высшего сословия: право на раскованность и спонтанность, на свободу мочеиспускания, дефекации и срыгивания, на совокупление в разнообразных позах, втроем и вчетвером, на сексуальный полиморфизм, на благородство в естественности и первобытности, на сочетание изобретательности версальских увеселений с непринужденностью эротизма Самоа, прикрытого цветком гибискуса. Нынешний век созвучен темной романтической эпохе, которая,

²³ Актриса и модель, снявшаяся в нескольких фильмах Энди Уорхола.

²⁴ Экспериментальный спектакль Ричарда Шехнера по мотивам трагедии Еврипида «Вакханки». На материале двух последних представлений был создан одноименный кинофильм (1970, реж. Брайан Де Пальма).

²⁵ См. цитировавшееся выше стихотворение Уильяма Блейка «Иерусалим».

в свою очередь, уходит корнями в ориентализм рыцарей-тамплиеров. Именно она взрастила леди Стэнхоуп²⁶, де Нервалей, Бодлеров, Стивенсонов и Гогенов – всех этих юголюбивых варваров. О да, тамплиеры! Они обожали магометан. Один волос с головы сарацина был для них ценнее целого христианского тела. Какое пылкое безумие! А теперь весь этот расизм, все эти странные эротические убеждения, туризм и местный колорит. Когда экзотика перестала быть экзотикой, массовое сознание, до которого все идеи доходят уже в состоянии распада, усвоило мысль о том, что быть белым – развращающая болезнь, а черная кожа, напротив, обладает целительной силой. Сны поэтов девятнадцатого века стали загрязнять духовную атмосферу гигантских районов и пригородов Нью-Йорка. Если прибавить к этому рвущуюся и спотыкающуюся агрессию фанатиков, то увидишь всю глубину беды. Как многие люди, однажды уже пережившие глобальную катастрофу, мистер Заммлер допускал, что мир может рухнуть опять. В отличие от некоторых своих друзей-беженцев, он не считал это неизбежным, однако неспособность либеральных взглядов к самозащите была для него очевидна, и его ноздри улавливали запах распада. Цивилизация демонстрировала явные суицидальные импульсы. Оставалось только гадать, переживет ли западная культура свое распространение по всему миру и будет ли она полностью воспринята другими обществами или они заимствуют только ее науку, технологии и административный опыт. Еще один вопрос заключался в том, не являются ли злейшими врагами цивилизации интеллектуалы, ею же выпестованные и нападающие на нее в те моменты, когда она наиболее уязвима. Нападающие во имя пролетарской революции, во имя разума, во имя иррациональности, во имя интуитивных глубин, во имя полной незамедлительной свободы. Требованиям не было конца, потому что обреченные существа (смерть стала для них неизбежной и окончательной) отказывались покидать этот мир неудовлетворенными. Каждый индивид обзавелся собственным внушительным списком претензий и жалоб. Идти на компромиссы никто не желал. То, что в такой-то сфере человечество испытывает дефицит, никого не останавливало. Просвещение? Прекрасно. Вот только оно совсем вышло из-под контроля.

Заммлер наблюдал это на примере Шулы-Славы. Когда она приходила прибраться в его комнате, ему приходилось сидеть в пальто и берете, потому что ей требовался свежий воздух. В своей холщовой сумке она приносила все необходимое: нашатырный спирт, салфетки для полок, средство для чистки стекол, воск для пола, тряпки. Окна она мыла, взобравшись на подоконник и опустив скользящую раму до бедер. Подошвы маленьких туфель оставались в комнате. Губы – малиновый взрыв ассиметричной, скептической, мясистой, деловитой и мечтательной чувственности – удерживали тлеющую сигарету. На месте был и парик из смеси волос яка и павиана с синтетикой. Шула, как, вероятно, и все женщины, имела множество потребностей. Нуждалась в удовлетворении бесчисленных инстинктов, в теплоте и тяжести мужского тела, в ребенке, которого она бы кормила и лелеяла, в эмансипации, в возможности упражнять ум, в последовательной связности явлений и в том, чтобы ей жилось интересно (интересно!), а еще в лести, в моментах триумфа, во власти, в равнинах, в христианских священниках, в топливе для нездоровых фантазий и в поле для благородной интеллектуальной деятельности. Ей нужна была культура и возвышенность. Всего этого она требовала, не желая принимать во внимание никаких дефицитов. Тот, кто попытался бы решить ее насущные проблемы, мог поставить на себе крест. Если же просто поразмышлять о них вместе с нею, пока она брызгает на стекло холодной пеной и вытирает его левой рукой (отчего ее бюст *ohne Büstenhalter*²⁷ тоже колыхнется влево), от этого не будет ни радости ей, ни покоя ее отцу. Когда Шула являлась и все распахивала, собственная атмосфера, накопленная мистером Заммлером, выветривалась. По ту сторону открытой задней двери виднелась черная лестница. От мусоропровода доносился

²⁶ Эстер Стэнхоуп (1776–1839) – британская путешественница и археолог, исследовательница Ближнего Востока.

²⁷ Без бюстгальтера (нем.).

едкий запах жженой бумаги, куриных потрохов и опаленных перьев. Транзисторы, которые носили с собой уборщицы-пуэрториканки, играли латиноамериканскую музыку. Казалось, она, подобно космическим лучам, исходила из какого-то неисчерпаемого вселенского источника.

– Ну, папа, как продвигается дело?

– Какое дело?

– Твоя работа. Книга об Уэллсе.

– Как всегда.

– Тебя слишком часто отвлекают. Ты не успеваешь достаточно читать. Знаю, тебе нужно беречь зрение... И все-таки... Тебе хорошо работается?

– Потрясающе.

– Зря ты шутишь по этому поводу.

– Разве это настолько важно, что уж и пошутить нельзя?

– Это важно.

Вот так-то. Ну да ладно. Сейчас Заммлер потягивал свой утренний кофе, думая о речи, которую ему предстояло произнести сегодня днем в Колумбийском университете. Один молодой знакомый убедил его выступить. Еще надо было справиться о племяннике. О докторе Грунере. На этот раз врач сам загремел в больницу. Ему, как сказали Заммлеру, сделали небольшую операцию. На шее. Как некстати этот сегодняшний семинар! Может, можно было отказаться? Нет, вряд ли.

Шула платила студентам за то, чтобы они читали ее отцу вслух. Так он мог не утруждать глаза. Она и сама пробовала быть его чтицей, но от ее голоса он засыпал. Полчаса – и кровь отливала от мозга. Анджеле Шула говорила, что отец не допускает ее до своих интеллектуальных занятий. Как будто ему нужна защита от человека, который больше всех верит в его книгу! Печальный парадокс. Вот уже лет пять она приглашает к нему студентов. За это время некоторые выпустились и устроились на работу, но все равно продолжают иногда приходить. «Он для них своего рода гуру», – заключала Шула-Слава.

Из новеньких многие состояли в разных оппозиционных организациях. Мистер Заммлер интересовался радикальными молодежными движениями. Судя по тому, как эти юнцы читали, их образованность оставляла желать лучшего. Присутствие студентов иногда вызывало (или закрепляло) на лице мистера Замллера неподвижную улыбку, из-за которой он казался более слепым, чем был на самом деле. Грязные, косматые, не имеющие представления о стиле, невежественные уравниатели. Послушав их несколько часов, мистер Заммлер убеждался в том, что должен растолковывать им, как двенадцатилетним, ими же прочитанные тексты и даже просто объяснять слова: «Дворецкий не стоит во дворе, а управляет слугами во дворце. Заведует хозяйством в богатом доме. Что такое тривиальный? Обыденный, простой. “Via” – “путь” полатыни. “Trivium”, то есть пересечение трех путей, – это три дисциплины, с которых начиналось университетское образование в Средние века. Базовый уровень». До которого этим несчастным молодым людям как до неба. От некоторых девушек дурно пахло. На них антибуржуазный протест сказывался еще хуже, чем на юношах. «Одна из основных задач цивилизации, – думал мистер Заммлер, – заключается в том, чтобы в первую очередь контролировать те части природы, которые в этом особенно нуждаются. Женщины больше, чем мужчины, склонны к полноте, их тела сильнее пахнут, а потому требуют более тщательного мытья, причесывания, подстригания, подвязывания, формования, парфюмирования и укрощения». Вероятно, эти бедные девочки вознамерились дружно вонять в знак несогласия с отжившей традицией, построенной на неврозах и лжи, но мистер Заммлер опасался, что незапланированным результатом их презрения к условностям станет утрата женственности и чувства собственного достоинства. Без конца бросая вызовы авторитетам, они вообще разучатся кого бы то ни было уважать. Даже самих себя.

В любом случае мистериу Заммлериу ужасно надоели все эти молокососы в больших грязных ботинках – беспомощные носители кричащей энергии, похожие на молодых псов с первой красной эрекцией. Надоели прыщавые физиономии, заросшие пенистыми бородами. Надоело объяснять слова и мысли. Ему больше не хотелось, чтобы эти юнцы таскались к нему и страдали над Буркхардом, Фрейдом, Шпенглером, Тойнби. Он прочел историков цивилизации: Карла Маркса, Макса Вебера, Макса Шелера, Франца Оппенгеймера, – совершив несколько экскурсов в Маркузе, Адорно и Норманна Оливера Брауна, которых счел никудышными. Параллельно читал «Доктора Фаустуса», «*Les noyers de l'Altenburg*»²⁸, Ортегу, исторические и политические эссе Валери. После четырех или пяти лет такой диеты у мистера Заммлера сохранился аппетит только к некоторым религиозным авторам Средневековья, таким как Сузо, Таулер и, конечно, Майстер Экхарт. На восьмом десятке его мало что интересовало, кроме Майстера Экхарта и Библии. Здесь чтецы-студенты вовсе ничем не могли помочь. Экхарта надо было читать по-латыни в библиотеке, с микрофильма. Мистер Заммлер прочел «Избранные проповеди» и «Речи наставления», разбирая за раз по несколько латинских предложений или по абзацу на средневерхненемецком с пленки, близко поднесенной к зрячему глазу. А Маргот тем временем чистила ковер в его комнате, собирая больше пыли своими юбками, чем щеткой. При этом она пела. Чаще всего песни Шуберта. Зачем было аккомпанировать себе пылесосом, мистер Заммлер понять не мог. Еще он не понимал любви некоторых людей к странным гастрономическим комбинациям: например, к сэндвичам с осетриной, швейцарским сыром, языком, татарским бифштексом и несколькими слоями русской заправки. Подобные деликатесы встречались во многих замысловатых меню. Значит, кто-то их заказывал. С какой стороны ни посмотри, запутавшееся человечество демонстрировало больше странностей, чем мистер Заммлер мог терпеливо принять.

Сегодня он лично оказался втянутым в нечто нелепое. Один из бывших чтецов, Лайонел Феффер, попросил его выступить в Колумбийском университете на семинаре, посвященном британской культуре тридцатых годов. Мистер Заммлер почему-то не захотел отказаться. Феффер нравился ему. Это был изобретательный малый, скорее организатор, чем студент. Румяное лицо, длинная окладистая борода, миндалевидные черные глаза, большое пузо, гладкие волосы, крупные розовые неловкие руки, громкий голос, часто прерывающий собеседника, торопливая энергия – все это казалось Заммлериу очаровательным. Нет, не заслуживающим доверия, а только очаровательным. Иногда он получал большое удовольствие, наблюдая работу этого своеобразного человеческого механизма. Ему нравилось слышать, как Лайонел Феффер шипит и свистит, расходуя свое жизненное топливо.

Заммлер не знал, что это будет за семинар. Он иногда бывал рассеян и потому толком не вник. Может, вникать было и не во что. В любом случае, он, кажется, пообещал прийти, хотя точно не помнил. Феффер его запутал. Говорил о стольких проектах сразу со столькими отступлениями, столько всего рассказал по секрету: об университетских скандалах, о чьем-то жульничестве, о своих духовных прозрениях... Это было бесконечное движение то вперед, то назад, то вбок, то вниз, то вверх, всегда *in medias res*,²⁹ как любая страница джойсовского «Улисса». В итоге Заммлер вроде бы согласился прийти и выступить с докладом в рамках студенческой программы помощи умственно отсталым чернокожим детям, у которых проблемы с чтением.

– Вы непременно должны прийти и поговорить с этими ребятами, это чрезвычайно важно. Ваша точка зрения будет для них настоящим открытием, – сказал Феффер.

²⁸ «Орешники Альтенбурга» (1942) – роман Андре Мальро.

²⁹ *In medias res* (лат. «в середине дела») – композиционная форма, при которой повествование начинается с середины фабулы без каких-либо предваряющих описаний или объяснений.

Розовая оксфордская рубашка делала его лицо еще румяней. Бородой и прямым длинным чувственным носом он походил на короля Франциска I. Суматошный, любвеобильный, напористый, взрывной, предприимчивый молодой человек. Он играл на фондовой бирже и был вице-президентом гватемальской компании, занимающейся страхованием железнодорожных рабочих. В университете изучал историю дипломатии. Состоял в корреспондентском обществе под названием «Клуб министров иностранных дел». Участники этой своеобразной игры выбирали какое-нибудь событие, например Крымскую войну или Ихэтуаньское восстание, и писали друг другу письма от лица министров иностранных дел Франции, Англии, Германии, России. Результаты получались совсем не такими, как в истории. Вдобавок к этому увлечению Фэффер был активным соблазнителем – особенно молодых жен. А еще успевал подсуетиться в пользу детей-инвалидов: доставал для них бесплатные игрушки и брал автографы у знаменитых хоккеистов. Находил время посещать своих подопечных в больнице. «Находить время» – по мнению Замллера, это выражение очень ярко характеризовало американский образ жизни. Высокоэнергичная американистость Фэффера доходила до анархии, до грани срыва, но все равно он был ей очень предан. И, разумеется, лечился у психиатра. Все они лечились. И запросто говорили, что больны. Никто ни о чем не умалчивал.

– Британская культура тридцатых. Пожалуйста, приходите. На мой семинар.

– Вас интересует это старье?

– Именно. Это то, что нам нужно.

– Блумсбери и все такое? Но зачем? Для кого?

Фэффер приехал за Заммлером на такси. Они покатали в университет с комфортом. Для пушего шика Фэффер велел водителю ждать Замллера, пока тот выступает с речью. Водитель-негр отказался. Тогда Фэффер повысил голос. Это, дескать, правовой вопрос. Хотел даже вызвать полицию, но Заммлер его унял:

– Мне совершенно не нужно, чтобы меня ждали.

– Тогда проваливай, – бросил Фэффер таксисту. – Никаких тебе чаевых.

– Незачем его оскорблять, – сказал Заммлер.

– Я не намерен делать ему поблажки из-за того, что он черный, – возразил молодой человек. – Кстати, я слышал от Маргот, что вы на днях нарвались на чернокожего карманника.

– Лайонел, куда вы меня все-таки ведете? Я до сих пор как в тумане, и мне как-то неспокойно. Что, собственно, я должен говорить? Тема слишком широкая.

– Вы знаете ее лучше всех.

– Да, я ее знаю, и все же чувствую себя неуверенно.

– Вы выступите превосходно.

И Фэффер ввел его в большой зал. Заммлер рассчитывал, что аудитория будет маленькой, и он просто поделится с группкой заинтересованных студентов воспоминаниями о Ричарде Генри Тоуни, Гарольде Ласки, Джоне Стрейчи, Джордже Оруэлле и Герберте Уэллсе. Но оказалось, людей тьма. Травмированное зрение Замллера различило огромное, бесформенное, зыбкое, неоднородное человеческое соцветие. Оно источало специфический запах – очень неприятный, тухлый, сернистый. Весь амфитеатр был заполнен. Свободное пространство осталось только в проходах. Что Фэффер задумал? Может, собрал со слушателей деньги и прикарманил их? Заммлер отверг это подозрение, приписав его удивлению и волнению. Он в самом деле был удивлен и взволнован, даже испуган. Но взял себя в руки. Попытался начать с шутки: рассказал анекдот про лектора, который выступал перед безнадежными алкоголиками, принимая их за общество любителей поэзии Браунинга. Никто не рассмеялся. Тогда Заммлер вспомнил, что браунинговские общества давно вымерли. На грудь ему прицепили микрофон, и он заговорил о духовной атмосфере Англии перед Второй мировой войной. О восточноафриканском походе Муссолини. Об испанских событиях 1936 года. О больших «чистках» в России.

О сталинизме во Франции и в Британии. О Блюме³⁰, Даладьё³¹, Народном фронте и Освальде Мосли³². О настроениях в среде англичан-интеллектуалов. Никакие записи Заммлеру не требовались. Он и так хорошо помнил, что люди говорили и писали.

– Полагаю, – сказал он. – Вы представляете себе исторические предпосылки всех этих явлений. Я имею в виду 1917 год: армейские мятежи, Февральскую революцию в России, беспорядки и восстания повсюду. То, что произошло во время Первой мировой войны под Верденом, на полях Фландрии и при Танненберге, дискредитировало все тогдашние европейские правительства. Наверное, мне следует начать с падения Керенского. Или с Брест-Литовска.

Говорящий на польско-оксфордском английском, мистер Заммлер был для собравшихся вдвойне иностранцем. Седые волосы на затылке электричились, из-под затемненных очков струились морщины. С деликатностью, присущей пожилым джентльменам, он достал из нагрудного кармана носовой платок, развернул его, снова сложил, прикоснулся к лицу, вытер ладони. Аудитория гудела, и выступать без воодушевляющего внимания слушателей было неприятно. Если что-то и приносило мистеру Заммлеру слабое подобие удовольствия, так это тень той гордости, которую они с женой испытывали в годы их британского успеха. Его успеха. Разве мог польский еврей не гордиться такими связями? Многие видные люди водили с ним дружбу, он хорошо знал Герберта Уэллса. Вместе с Джеральдом Хердом и Олафом Стэплдоном разрабатывал идею Мирового государства в «Космополисе»³³. Писал статьи для «Новостей прогресса» и «Гражданина мира». Внушительно тихим голосом, по-прежнему расцветивая свою речь польскими шипящими и носовыми звуками, мистер Заммлер объяснил студентам, что авторы этого проекта занимались распространением знаний по биологии, истории и социологии, выступая за эффективное внедрение научных принципов в повседневную жизнь, за строительство прекрасного и упорядоченного мирового социума, упразднение отдельных государств, запрет военных действий, передачу финансов, промышленности, транспорта *et cetera* в коллективное международное управление, обеспечение всеобщего бесплатного образования и личной свободы каждого индивида (насколько она совместима со всеобщим благом), создание общества – слуги человека на основании рационального научного отношения к жизни. Постепенно воодушевляясь и обретая чувство уверенности, мистер Заммлер говорил о «Космополисе» добрых полчаса. Теперь он видел, как все это было сентиментально, наивно и глупо. Его слова лились в копошащуюся яму амфитеатра, освещенную зарешеченными лампами под грязным куполом потолка до тех пор, пока этот поток не был остановлен чьим-то чужим голосом – громким и уверенным. Мистера Замллера прервали. На него прикрикнули:

– Эй!

Он попытался продолжить:

– Подобные попытки отвлечь интеллектуалов от марксизма оказались малоуспешными...

Мужчина в джинсах, густобородый (хотя, вероятно, еще очень молодой), низкорослый и весь какой-то искривленный, встал и снова крикнул:

– Эй! Старик!

В воцарившейся тишине мистер Заммлер снял затемненные очки, чтобы здоровым глазом получше рассмотреть этого человека.

– Старина! Вы, кажется, цитировали Оруэлла?

– Да...

³⁰ Леон Блюм (1872–1950) – политик-социалист, премьер-министр Франции в 1936–1937 гг., один из организаторов Народного фронта (коалиции левых политических сил, находившейся у власти в указанный период).

³¹ Эдуар Даладьё (1884–1970) – один из лидеров Радикальной партии, премьер-министр Франции в 1933, 1934 и 1938–1940 гг. В правительстве Народного фронта занимал пост министра обороны.

³² Сэр Освальд Мосли (1896–1980) – основатель Британского союза фашистов.

³³ Общество сторонников политических идей Герберта Уэллса, именовавшееся также «Открытым заговором».

– Вы сказали, что он сказал, что всех британских радикалов защищал Королевский флот. Он правда сказал, что британских радикалов защищал Королевский флот?

– Да, насколько я помню, он действительно говорил такое.

– Но это же полное дерьмо!

Заммлер лишился дара речи.

– Оруэлл предатель. Контрреволюционер-извращенец. Хорошо, что он уже сыграл в ящик. И то, что вы говорите, тоже дерьмо. – Тут юнец повернулся к аудитории, поднял агрессивные руки, вскинув ладони, как греческий танцор, и воззвал: – Зачем вы слушаете этого старого хилого козла? У него давно яйца пересохли. Он падаль, даже кончить уже не может!

Впоследствии Заммлеру припоминалось, будто кто-то пытался что-то сказать в его защиту. Один из голосов произнес: «Какой позор! Эксгибиционист!»

Но настоящей поддержки пожилой лектор не получил. Большая часть аудитории казалась настроенной враждебно. Отовсюду слышались агрессивные выкрики. Феффера поблизости не было – его позвали к телефону. Сойдя с кафедры, Заммлер взял зонт, плащ и шляпу. Какая-то девушка вышла с ним из зала, бормоча изъявления негодующего сочувствия: дескать, какое это безобразие, что прервали такую интересную лекцию. Спустившись в ее сопровождении по нескольким лестницам, Заммлер быстро вынырнул из университета и оказался на пересечении Бродвея и Сто шестнадцатой улицы.

Он вернулся в город.

Тот молодой хам не столько лично оскорбил мистера Заммлера, сколько поразил своим упорным стремлением вести себя оскорбительно. Видимо, так проявлялось страстное желание почувствовать себя реальным. Но реальность в данном случае понималась как скотство. Публичное испражнение, возведенное в стандарт! Невероятно! Что это? Молодость? В сочетании с заикленностью на сексуальной силе? Нелепая генитально-фекальная воинственность, взрывная агрессия, варварская потребность постоянно показывать зубы и реветь, как горилла... Мистер Заммлер где-то прочел, что паукообразные обезьяны, сидя на деревьях, испражняются себе в руки и с криками швыряют экскременты в исследователей, стоящих внизу. Он, Заммлер, не жалел о том, что столкнулся сегодня с подобным явлением, как оно ни печально. Благодаря случившемуся, он почувствовал, что отделен от остальных особей своего вида. Можно даже сказать, отрезан. Отрезан не столько возрастом, сколько мыслями, которые словно переносят его из двадцатого века в тринадцатый – время спиритуализма, платонизма и августицианства. Мимо мистера Заммлера тек транспорт, тек ветер, солнце, умеренно яркое по меркам Манхэттена, просачивалось сквозь его лакуны, сквозь пробелы в его существе, отчего он почувствовал себя дырявой скульптурой Генри Мура. Как и встрече с карманником, возмутительному инциденту в аудитории мистер Заммлер был обязан освежением и обострением своего зрения. Вот курьер несет в обеих руках цветочный крест. На лысом черепе у него вмятина. Похоже, он выпил. Борется с ветром, как моряк. На ногах уродливые ботинки маленького размера, широкие короткие штаны раздуваются так, будто это женская юбка. Гардении, камелии и белые лилии под тонким полиэтиленом высятся над головой, точно парус. На остановке риверсайдского автобуса мистер Заммлер заметил студента, стоящего неподалеку, и использовал свою зоркость, чтобы его тоже хорошенько разглядеть: брюки из противного желтовато-зеленого вельвета в широкий рубчик, куртка – из морковного твида с узловатыми голубыми прожилками, бакенбарды, похожие на кустистые колонны, примяты интеллигентными черепаховыми дужками очков, на лбу волосы уже редуют, нос еврейский, губа тяжелая, все смакующая и все отвергающая. Когда мистер Заммлер бывал чем-то потрясен, улица служила ему своего рода артистическим отвлечением. Он был усерден и начитан. Хорошие писатели научили его развлекаться при помощи зрительного восприятия. Чтобы жизнь не казалась пустой, достаточно было выйти из дому и увидеть, как целеустремленные, агрессивные, деловитые, волевые люди занимаются тем, чем обычно занимается человечество. Если боль-

шинство прохожих шагали, как заколдованные, как сомнамбулы, схваченные и ограниченные своими мелкими невротическими задачами, то личности, подобные Заммлеру, стояли на шаг впереди. Они бодрствовали не ради цели, а ради эстетического поглощения среды. Когда их оскорбляли, когда у них что-то кровоточило, они не выражали открыто своей злобы, не вскрикивали горестно, а трансформировали сердечную боль в тонкое и даже пронзительное восприятие. Мельчайшие частички, переносимые ярким ветром, ощущались кожей лица, как наждак. Интенсивность солнечного света словно бы отрицала смерть. Целую минуту, пока не подошел автобус, выдувающий из-под себя струи воздуха, мистер Заммлер воспринимал мир именно так. Потом он вошел в салон и, как дисциплинированный пассажир, продвинулся вглубь. Только бы густая толпа не запихнула его слишком глубоко, ведь ему нужно проехать всего пятнадцать кварталов. Чувствовался обычный запах продавленных сидений, клямой обуви, дрянного табака, одеколона и пудры. Стояла ранняя весна, и на деревьях вдоль реки уже можно было видеть набухшие почки цвета хаки. Еще несколько солнечных недель, и Манхэттен вместе со всем североамериканским континентом утонет в старозаветной зелени, в плюшевой роскоши, в блеске и глянце, в белой пене кизила и розовой пене диких яблонь. Ступни людей нальются теплом, возле Рокфеллеровского центра распустятся тюльпаны, гуляющие будут смотреть на воду, сидя на гладких парапетах фонтанов с тритонами. Все как будто бы забеременеет. Под теплыми тенями небоскребов люди почувствуют приятную тяжесть своей природы и поддадутся ей. Заммлер тоже порадуется весне – одной из своих предпоследних весен. Конечно, сейчас он расстроен. Очень. Конечно, в сегодняшнем контексте его старые новости про Брест-Литовск, германский милитаризм и революционно настроенных интеллектуалов первой трети века прозвучали прямо-таки смешно. Неуместно. Студенты, само собой, тоже были смешны. И если отвлечься от хамства как такового, то что же в этой ситуации самое печальное? Для того чтобы заставить старого зануду замолчать, существуют более приличные способы. Допустим, пустившись перед большой аудиторией в такие долгие разглагольствования о «Космополисе», он действительно повел себя как старый зануда. Вполне вероятно. И все-таки самое печальное здесь то, что молодые люди не выказали ни малейшего чувства собственного достоинства. Они не видят благородства в том, чтобы быть интеллектуалами, судьями общественного строя. «Как это прискорбно! – подумал мистер Заммлер. – Ведь человек может поддерживать порядок во внешнем мире только тогда, когда он умеет ценить себя за то, за что следует себя ценить. Когда у него порядок внутри. Иначе никак. А разве это норма – остановиться в своем развитии на стадии приучения к горшку?! Оказаться в ловушке психиатрических стандартов?! – (Мистер Заммлер мысленно выбрал немцев с их психоанализом.) – Размахивать пеленкой вместо знамени?! Поклоняться дерьму, как святыне?! Неужто во всем этом следует усматривать некое литературное и психологическое движение?» Охваченный горечью и злобой, мистер Заммлер взялся за верхний поручень набитого автобуса, чтобы начать свой короткий путь домой.

О черном карманнике он даже не думал. До сих пор их встречи происходили на площади Колумба на пути из нижней части Манхэттена в верхнюю, а не наоборот, как сейчас. Однако вот оно – пальто из верблюжьей шерсти. Мощное тело заполнило собой целый угол на задней площадке. Заммлер увидел вора, хотя внутренне сопротивлялся этому. Сопротивлялся, потому что момент и без того был трудный. Господи! Только не сейчас! Сердце мгновенно ушло в пятки: это внутреннее оседание было вызвано неотвратимостью судьбы. Как и то, что под действием законов природы камень падает, а молекулы газа стремятся вверх, мистер Заммлер знал: негр сел в автобус не просто так. Он не ехал к себе домой, к женщине или еще куда-нибудь поразвлечься. Для таких целей он наверняка брал такси. Это было ему по карману. Самый высокий человек в автобусе после самого вора, Заммлер мог сверху вниз заглянуть ему за плечо. Вот он зажал в угол кого-то, кто сидел на длинном заднем сиденье. Широкая, мощно изогнувшаяся спина закрыла жертву от остальных пассажиров. Только Заммлер видел

происходящее и сейчас вовсе не был благодарен ни своему росту, ни своему зрению. Человек, прижатый к стенке, оказался дряхлым стариком: слезы ужаса в подслеповатых глазах цвета морской слизи, белые ресницы, красные веки, приоткрытый рот, с верхней челюсти вот-вот свалятся вставные зубы. Пальто и пиджак с надорванной подкладкой расстегнуты, рубашка оттопырена, как отставшие зеленые обои. Вор обходился с одеждой жертвы, как врач – с одеждой пациента. Спокойно отстриг шарф и галстук, достал кошелек. Его собственная хомбургская шляпа слегка отъехала назад в результате чисто животного движения: лоб нахмурился, но не от беспокойства. Продолговатый кошелек из дешевого кожзаменителя при открывании обнаружил несколько долларовых бумажек и еще карты. Их вор, склонив голову набок, изучил и бросил. Потом занялся зеленым чеком – по видимости, пенсионным. Мистеру Заммлеру трудно было разглядеть сквозь защитные очки. Слишком много адреналина пронеслось с пугающей ослепительной быстротой и легкостью сквозь его сердце. Сам он не боялся, но оно регистрировало страх. Это был приступ с известным ему названием: тахикардия. Стало тяжело дышать, воздуха не хватало. Мистер Заммлер подумал, что может потерять сознание. Или того хуже. Чек отправился к негру в карман. Несколько фотографий упало на пол вслед за картами. Завершив свою работу, вор бросил кошелек обратно – за серую рваную изношенную подкладку – и запахнул стариковское кашне. Напоследок два черных пальца с ироническим спокойствием поправили галстук, вернув узел приблизительно (именно приблизительно) туда, где он должен был находиться. В следующий момент, быстро повернув голову, карманник увидел, что мистер Заммлер все видит. А мистер Заммлер все еще не мог угнаться за своим сердцем, которое словно пыталось вырваться на волю, как зверь. Горло воспалилось до самого корня языка. Травмированный глаз заболел. Но все-таки мистер Заммлер не вполне утратил присутствие духа. Крепче схватившись за хромовый поручень, он пригнул голову и посмотрел в окно, как бы проверяя, какая следующая остановка. Девяносто шестая улица. Иными словами, Заммлер избежал возможного зрительного контакта и даже мимолетного пересечения взглядов. Делая вид, будто ничего не произошло, стал двигаться к передней двери. Ссутуленные плечи с мягкой настойчивостью пробивали дорогу. Наконец мистер Заммлер дернул за шнур, сообщая водителю о своем намерении выйти, протиснулся в дверь и оказался на тротуаре с зонтом в руках (он держал его не за ручку, а за ткань, где застежка).

Тахикардия немного поутихла. Мистер Заммлер мог идти, хотя и медленнее, чем обычно. Он решил пересечь Риверсайд-Драйв и войти в первое попавшееся здание, как будто это его дом. Ему удалось выйти из автобуса раньше вора. Может быть, в силу своей наглости, тот сочтет его фигурой слишком незначительной и не станет преследовать. Похоже, преступник не почувствовал никакой угрозы, потому что уверен в вялости и трусости окружающих. Заммлер с усилием открыл большую застекленную дверь с черной решеткой и оказался в пустом подъезде. В лифт заходить не стал, а осилил один лестничный марш и сел на площадке. Несколько минут отдыха помогли ему повысить содержание кислорода в крови, но все равно осталось ощущение какой-то внутренней истощенности. Истонченности. Прежде чем вернуться на улицу (заднего выхода в здании не оказалось), Заммлер спрятал зонт, зацепив его за подмышечную пройму пальто и более или менее надежно зафиксировав ремнем. Еще попытался изменить форму шляпы, убрав вмятину в тулье. Дойдя по Вест-Энд-авеню до Бродвея, зашел в первую попавшуюся закусочную. Сел в глубине зала, заказал чай. Выпил содержимое тяжелой чашки, ощутив вязкий вкус танина. Отжал пакетик и попросил продавца подлить кипятку. Внутри как будто все пересохло. По ту сторону окна вора видно не было. Больше всего мистеру Заммлеру сейчас хотелось вернуться домой и лечь в постель. Но он знал, как нужно себя вести, если не хочешь быть замеченным. Во время войны, в Польше, ему приходилось затаиваться в лесах, в подвалах, в узких переулках, на кладбищах. Благодаря пережитому, он расстался с некоторыми понятиями, которые обычно сами собой разумеются. Обыкновенно человек бывает уверен в том, что его не застрелят, едва он покажется на улице, не забьют до смерти дубинкой, когда

он остановится по нужде, не загонят в западню, как крысу. Однажды утратив эту уверенность, мистер Заммлер впоследствии не смог восстановить ее в полной мере. В Нью-Йорке ему не слишком часто приходилось прятаться и убегать. Тем не менее сейчас, хоть кости его ныли от усталости, а голова жаждала прикоснуться к подушке, он продолжал сидеть у прилавка закуской. Отныне он будет ездить только на метро. Как оно ни отвратительно.

Несмотря на все предосторожности, оторваться от карманника мистери Заммлеру так и не удалось. Вор, очевидно, умел передвигаться очень быстро. Может, он выпрыгнул из автобуса посреди квартала и догнал свидетеля своего преступления, тяжелый в своем верблюжьем пальто, но все же стремительный. Или, что еще более вероятно, в прошлый раз он уже проследил за не в меру зорким долговязым стариком и теперь знал, где тот живет. Да, наверное, так и было. Сейчас он вошел в подъезд одновременно с мистером Заммлером, не просто последовав за ним, а толкая его животом в спину. Давя на него без помощи рук. Консьержа на месте не оказалось. Вахтеры, обслуживавшие заодно и лифт, большую часть смены проводили в подвале.

– В чем дело? Чего вы хотите? – сказал мистер Заммлер.

Но чернокожий вор не подал голоса. Сказал не больше, чем сказала бы пума. Вместо словесного ответа он оттеснил Замллера в угол, к длинному темному резному столу (этот своеобразный привет из Ренессанса усиливал меланхолическую атмосферу подъезда, освещенного двумя красными глазами латунного светильника). Когда карманник предплечьем прижал Замллера к обшарпанной стене, зонтик упал на камень, звякнув металлической фурнитурой. Этот звук был проигнорирован. Вор расстегнул пальто, и в следующую секунду Заммлер услышал тихий лязг открываемой молнии. Затемненные очки были сняты с его лица и брошены на стол. Подчиняясь безмолвному указующему жесту, он посмотрел вниз. Чернокожий раскрыл ширинку и достал пенис. Большая коричнево-лиловая необрезанная штукавина – палка, змея – была продемонстрирована Заммлеру вместе с огромными овальными яйцами. У толстого основания члена топорщились металлические волосы. Конец свисал с демонстрирующей руки. Своей мясистой гибкостью этот пенис напоминал слоновий хобот, только кожа не была толстой и грубой, а радужно переливалась. От Замллера, удерживаемого предплечьем и кулаком, требовалось, чтобы он смотрел. Но принуждение было излишне. Он бы посмотрел и так.

Это длилось долго. В выражении негритянского лица не ощущалось явной угрозы. Скорее, ощущалась странная умиротворенная властность. Загадочная уверенность. Член был показан надменно. После чего возвращен в штаны. *Quod erat demonstrandum*³⁴. Заммлер отпущен, ширинка закрыта на молнию, пуговицы пальто застегнуты, восхитительный струящийся лососевый шелк галстука разглажен мощной рукой на мощной груди. Мягкое движение потрясающе прямодушных черных глаз завершило сеанс. Урок. Предупреждение. Встречу. Внутреннее. Негр взял со стола темные очки Замллера и вернул их ему на нос. Потом достал и надел свои – круглые, генцианово-фиолетовые, в нежной золотой оправе от Диора.

И удалился. В тот же момент, когда закрылась дверь подъезда, открылась дверь лифта, который, грохоча, вернулся из подвала вместе с консьержем. Неуклюже подобрав зонтик, Заммлер поднялся на свой этаж. Консьерж не стал развлекать его светской беседой, но он был только рад этой печальной нелюбезности. Еще больше – тому, что не нарвался на Маргот. Ну а больше всего – возможности наконец-то упасть на кровать. Мистер Заммлер растянулся, прямо как был: с ноющими ногами, затрудненным дыханием, болью в сердце, оглушенным умом и – самое прискорбное – временной пустотой духа, который стал как телевизор в подъезде: серо-белый, со звуком помех, без картинки. Между головой и подушкой вклинилось что-то прямоугольное и твердое. Это оказался картонный блокнот цвета морской волны в мраморных разводах. К нему скотчем была приклеена записка. Мистер Заммлер взял ее, поднес к свету и, с беззвучной горечью шевеля губами, заставил себя прочитать отдельные буквы.

³⁴ Что и требовалось доказать (*лат.*).

Записка от *S* (то ли *Shula*, то ли *Slawa*): «Папочка! Я ненадолго взяла эти лекции о Луне, чтобы ты их прочел. Это имеет отношение к Мемуарам. – (Видимо, она так решила, потому что около девятисотого года Уэллс написал роман “Первые люди на Луне”.) – Информация новейшая. Полный восторг. Папа, ты должен это прочитать. Обязательно. Только поскорее, пожалуйста. Беречь зрение некогда. Автор, доктор В. Говинда Лал, – приглашенный лектор в Колумбийском универе. Эти материалы скоро ему понадобятся». Мистер Замлер отчаянно нахмурился. Дочь совершенно истощила его терпение. Ему была отвратительна ее заикленная, упрямая, навязчивая, жуткая, смехотворная одержимость. Он глубоко вздохнул: от таких вздохов легкие ходят ходуном и все тело расправляется.

Потом открыл блокнот. Ржаво-золотистыми чернилами было выведено заглавие: «Будущее Луны». «Как долго, – это было первое предложение, – Земля будет оставаться единственным домом человечества?»

Как долго? Господи, разве сейчас не самое время отчалить? Ради всех мыслимых целей. Для того чтобы собирать камни и разбрасывать камни. Для того чтобы посмотреть на эту планету, не как на брошенный камень, а как на что-то, с чего можно сброситься. От чего можно освободиться, как от лишней одежды. Взорвать этот огромный сине-бело-зеленый шар или взорваться самим.

II

Средний радиус Луны – 1737 км, Земли – 6371 км. Ускорение свободного падения на Луне – 161 см/с^2 , на Земле – 981 см/с^2 . В коренной подстилающей породе Луны есть неровности и щели, вызванные перепадами температур. Разумеется, никакого ветра. Пять миллиардов безветренных лет. Ветер только солнечный. Камень крошится, но без обычной эрозии. Если кусок скалы отломится, то падает медленно, потому что гравитация слабее, чем у нас, а угол падения, соответственно, острее. В лунном вакууме скорость падения камней, песка и тел исследователей будет одинаковой, поэтому, прежде чем взбираться на какую-то возвышенность, нужно убедиться, что ни с какой стороны нет опасности обвала. Органы информации быстро развиваются. Масс-спектрометры. Солнечные батареи. Электричество, производимое радиоактивными изотопами, стронцием-90 и полонием-210, путем преобразования термоэлектрической энергии. Доктор Лал детально рассмотрел телеметрию, передачу данных. Не упустил ли он чего-нибудь из виду? Припасы нужно выводить на орбиту и опускать при помощи тормозной системы. Вычисления должны быть предельно точными. Если в точке X вам требуется тонна динамита, вы не захотите промахнуться на 800 км. А если речь идет о жизненно необходимом кислороде? Из-за того, что кривизна Луны больше кривизны Земли, горизонты там короче. Посылать команды за горизонт нынешнее оборудование не может. Потребуется еще более точная ориентация. Для пользы персонала, работающего на Луне (для повышения изобретательности и просто для приятного стимулирования ума) доктор Лал рекомендовал устроить в колониях первопоселенцев пивоварни. Для пива нужен кислород, для кислорода требуются сады, а для садов – парники. Небольшая глава была посвящена селекции лунной флоры. Что ж, в гостинной Маргот обитают очень жизнестойкие образцы царства растений. Только открой двери, и вот они: картофель, авокадо, каучуконосный фикус. А доктор Лал предпочел хмель и сахарную свеклу.

Заммлер подумал: «Нет, таким образом не выберешься из пространственно-временной тюрьмы. Далекое все равно конечно, а конечное, даже сквозь завесу, все равно ощупывает обнаженную внутреннюю реальность рукой в перчатке». С другой стороны, это все же могло быть неплохо – убраться отсюда и жить в вакууме, в пластиковых иглу³⁵, тихими колониями, безо всяких излишеств, пить ископаемую воду и задумываться только о действительно важных вопросах. Без сомнения, в этот раз Шула-Слава принесла Заммлеру документ, заслуживающий внимания. Она всегда была падка на книги с идиотскими заголовками, выкапывала их в букинистических магазинчиках на Четвертой авеню, в мусорных баках. Томики с выцветшими корешками и пятнами от дождя на обложке. В них говорилось об Англии двадцатых-тридцатых: о Блумсбери, о Даунинг-стрит, о Клер Шеридан³⁶. Полки в комнате Замллера были забиты макулатурой – книжками, которые Шула покупала на развалах по восемь штук за доллар и притаскивала ему в рвущихся холщовых сумках. Но даже и то, что он выбирал сам, в основном оказывалось ненужным. Если в свое время вы потратили много сил на серьезных авторов, то впоследствии вы нечасто будете встречать в литературе что-то новое для себя. Будут сплошные фальстарты и тупики. Постулаты, которые разваливаются, едва их сформулируют. Даже самые талантливые мыслители начинают передвигаться ощупью, когда приблизятся к своим границам, исчерпают материал, израсходуют идеи, в которые действительно верят. Вне зависимости от их оптимизма или пессимизма, от яркости или мрачности создаваемой ими картины, для старика Замллера все они были *terra cognita*. А вот доктор Лал представлял некоторый интерес. Он принес что-то новое. Наверное, истину по-прежнему можно искать на внутреннем пути, без

³⁵ Куполообразное эскимосское жилище из снежных или ледяных блоков.

³⁶ Клер Шеридан (1885–1970) – английская журналистка, путешественница, скульптор.

замысловатой подготовки, без компьютеров, телеметрии, развитых технологий, сложной организации и больших капиталовложений, необходимых для высадки на Марс, Венеру или Луну. Тем не менее, возможно, именно та человеческая деятельность, из-за которой мы в свое время оказались взаперти, теперь сулила нам свободу. Именно те силы, по чьей вине Земля стала для человека слишком тесной, могли выпустить его на волю. Действуя по принципу гомеопатии. Идя до конца по пути пуританской революции, которая навязала себя материальному миру, отдала всю энергию материальным процессам, таким образом трансформировав и истощив религиозное чувство. Как сказал Макс Вебер (Заммлер знал эти сокрушительные слова наизусть), «специалисты без духа, сенсуалисты без сердца, эти ничтожества воображают, что достигли доселе невиданного уровня цивилизации»³⁷. Вероятно, теперь нам оставался только один путь: двигаться в том же направлении, ждать, когда сила, которую пренебрежительно оставили позади, снова вырвется вперед и вернет себе былую власть. Может быть, для этого нужно согласие лучших умов наподобие уэллсовского «Открытого заговора». «Пожалуй, старик в конце концов оказался прав», – подумал мистер Заммлер, уже и сам ставший стариком.

Отложив в сторону голубой блокнот с золоточернильными рассуждениями В. Говинды Лала на сухом педантичном индийском английском эдвардианской поры, мистер Заммлер не без труда заставил себя вернуться к эпизоду с карманником. Что это было? Это был шок, а шок стимулирует сознание. Во всяком случае, в какой-то степени. Так как же следовало понимать эту демонстрацию гениталий? *Qu'est-ce que cela prouve?*³⁸ Кажется, кто-то из французских математиков задал этот вопрос, посмотрев трагедию Расина. Если мистеру Заммлеру не изменила память. Вообще-то он уже наигрался в старую европейскую культурную игру, и все же непрошенные цитаты то и дело всплывали в сознании. Итак, ему продемонстрировали мужской орган, огромный кусок сексуальной плоти, слегка набухшей от гордости. Нечто самодостаточное. Значительный и независимый предмет, выступающий как атрибут власти. Что ж, это вполне в русле современной сексуальной идеологии. Пенис – символ сверхзаконности и суверенности. Он загадочен и неоспорим. Он сам себе объяснение. Дескать, вот почему и вот зачем. Понятно? Такой вот запредельный всепобеждающий бесспорный аргумент. Мол, эта штука для того нам и дается, чтобы говорить за нас. Правда, чувствительный удлинённый орган наподобие этого есть и у муравьеда, а он по простоте своей не притязает на власть, даже над муравьями. Но сделай Природу своим Богом, вознеси свою плотскость до небес, и тогда ты можешь рассчитывать на впечатляющий результат. Хотя не исключено, что рассчитывать на впечатляющий результат ты можешь в любом случае.

Вопреки собственному желанию, Заммлер много знал о плотскости, которой придается слишком большое значение. В последнее время он по не вполне понятным причинам пользовался популярностью: его часто посещали, с ним часто советовались, ему исповедовались. Может, дело было в пятнах на солнце, в погоде, в чем-нибудь барометрическом или даже астрологическом. Так или иначе, поток посетителей не иссякал. Вот и сейчас, когда Заммлер думал о муравьедах и о черном человеке, который приметил его и выследил, в заднюю дверь постучали.

Ну кто там еще? В эту минуту Заммлер, пожалуй, казался более сердитым, чем был. На самом деле он просто чувствовал, что у него меньше жизненных сил, чем у других, отчего испытывал скрытое смятение. Однако это была иллюзия, ведь если учесть, какому мощному антагонисту каждый человек вынужден противостоять, то ничьих сил не достаточно.

Неожиданным визитером оказался Вальтер Брух – кузен Маргот, который к тому же приходился каким-то родственником Грунерам.

³⁷ Макс Вебер «Протестантская этика и дух капитализма».

³⁸ Что это доказывает? (фр.)

Однажды Анджела привела Замлера на выставку Руо. Замлер ходил с нею – красиво одетой, в меру накрашенной, благоухающей – из зала в зал, и она напоминала ему катящийся обруч из золота с драгоценными камнями, а он, плетущийся следом, казался сам себе старой палкой, от которой обручу время от времени нужно лишь легкое прикосновение. Но когда они вместе остановились перед одним из портретов, их ассоциации совпали. Им обоим вспомнился Вальтер Брух. Это был широкий, приземистый, грузный человек с румяным, мясистым, как будто испеченным лицом. Глаза таращились, волосы напоминали шерсть. Мужчина выглядел уже вполне зрелым, но, очевидно, не умел справляться с собственными чувствами. Таких людей, наверное, было тысячи, однако с этого портрета глядел именно Вальтер. Черный плащ, кепка, седые кусты перед ушами, щеки как бока медного чайника, большой лиловый рот... Представьте себе потусторонний мир. Представьте себе бочки, набитые душами. Представьте себе, что, когда людей отправляют на Землю, они рождаются с отличительными свойствами, заложенными *ab initio*. В таком случае для Вальтера первая доминирующая черта – это его голос. Еще сидя в бочке вместе с другими нерожденными, он уже выделялся голосистостью. Теперь он пел в хорах – светских и религиозных. По профессии был певцом-баритоном и музыковедом. Находил старые рукописи и адаптировал их для ансамблей, которые исполняли музыку Возрождения и барокко. Это он называл своим маленьким бизнесом. Пел Вальтер хорошо, но, когда говорил, его голос казался хриплым, гортанным. К тому же он тараторил, глотал слоги, похрюкивая и побрякивая.

Оторванный от раздумий, Замлер отреагировал на оригинальную персону Бруха очень своеобразно. Примерно так: «Вещи, с которыми мы встречаемся в этом мире, связаны с формами нашего восприятия в пространстве и во времени, а также с формами нашего мышления. Мы видим то, что перед нами: сущее, объективное. Это временное проявление вечного бытия. Есть только один способ вырваться из плена форм, из тюрьмы представлений, – свобода». Считая себя в достаточной степени кантианцем, чтобы со всем этим согласиться, Замлер видел, что для сердец, подобных сердцу Вальтера Бруха, плен форм мучителен. Поэтому Вальтер и пришел. Вот в чем была причина его клоунады, а клоунствовал он всегда. Если Шула-Слава могла ворваться в квартиру с рассказом о том, как ее, зачитавшуюся, сбил конный полицейский, преследующий оленя, то Брух мог ни с того ни с сего запеть голосом слепца, который ходил по Семьдесят второй улице с собакой-поводырем и блеял, трясая монетками в стакане: «Что за Друга мы имеем...»³⁹ Благослови вас Господь, сэр!» Еще Брух обожал пародировать похоронное пение на латыни, используя для этого музыку Монтеверди, Перголези и мессу до минор Моцарта. «*Et incarnatus est...*»⁴⁰ – выводил он фальцетом. В первые годы после бегства из Европы Брух работал на складе универмага «Мейси». Там они с приятелем, тоже немецким евреем, отпевали друг друга: один ложился в ящик, обмотав вокруг запястья бусы из магазина «Все по 10 центов», а второй проводил заупокойную службу. Вальтеру до сих пор нравилось изображать труп. Замлер был сыт этими спектаклями по горло. И другими клоунскими репризами тоже. Одна из них называлась «Съезд нацистов в Берлинском дворце спорта». Вооружившись пустым горшком вместо рупора, Вальтер лаял по-гитлеровски и сам себя прерывал возгласом: «*Sieg Heil!*» Замлера никогда не веселил этот номер, за которым обыкновенно следовали бухенвальдские воспоминания Бруха. Комически-ужасный, непоследовательный, бессмысленный бред. Например, рассказ о том, как в тридцать седьмом году заключенным зачем-то стали продавать кастрюли. Привезли прямо с фабрики сотни тысяч новеньких кастрюль. Зачем? Брух купил, сколько смог, сам не зная, для чего. Лагерники стали пытаться перепродавать кастрюли друг другу. А потом один человек свалился в отхожую

³⁹ «Что за Друга мы имеем! Нас Он к жизни пробудил...» (*What a friend we have in Jesus*) – популярный в англоязычных странах христианский гимн. Текст написан Дж. М. Скривеном в 1855 году и положен на музыку Ч. К. Конверсом в 1868. Автор русского перевода неизвестен.

⁴⁰ «И воплотился...» (*лат.*) – цитата из текста упомянутой мессы Моцарта.

канаву. Вытащить его никому не позволили. Так он и утонул там под взглядами других заключенных, беспомощно сидящих на корточках у края. Да, захлебнулся фекалиями!

– Ладно, ладно, Вальтер! – сурово прерывал Заммлер Бруха.

– Да, я знаю, дядя Заммлер, худшего мне пережить не пришлось. Не то что тебе. Ты всю войну был в самой гуще. Но я сидел там с поносом и с такими болями! Бедные мои кишки! Не было смысла аршлох⁴¹ прикрывать.

– Хорошо, Вальтер, незачем так часто это пересказывать.

Но Вальтер, увы, не мог не пересказывать. Приходилось его слушать, ощущая смесь жалости с раздражением.

Многие, многие знакомые всегда, вечно, опять и опять приходили к Заммлеру для обсуждения сексуальных проблем. Брух не был исключением. Он обожал руки женщин. Молодых, нехуденьких и, как правило, темнокожих. Часто пуэрториканок. Летом, когда они начинали носить открытую одежду, он замечал их в метро. Прижимаясь к металлу, ехал с ними до испаноязычной части Гарлема – единственный белый пассажир в вагоне. И все это: восторг, стыд, боязнь потерять сознание в момент семяизвержения – описывалось Заммлеру. Рассказ сопровождался почесыванием волосатого основания толстой шеи. Клиника! Между тем у Бруха почти всегда бывала какая-нибудь дама, с которой он состоял в самых возвышенных, идеалистических, утонченных отношениях. Классика! Вальтер был способен к сочувствию, к самопожертвованию, к любви. Мог даже быть верным. По-своему. Как Доусон своей Цинаре⁴². Сейчас Брух, по собственному его признанию, страдал наркотической зависимостью от рук женщины, которая работала кассиршей в аптеке.

– Захожу туда при каждой возможности.

– Угу, – отозвался Заммлер.

– Это просто безумие. Под мышкой у меня всегда портфель. Из первоклассной кожи, очень твердый. Я заплатил за него тридцать восемь пятьдесят в магазине «Уилт» на Пятой авеню. Понимаешь?

– Понимаю.

– Прошу что-нибудь центов за десять или за четверть доллара. Жвачку, например. Иногда салфетки для очков. Подаю крупную деньгу: десятку, а то и двадцатку. Специально перед этим захожу в банк за новенькой купюрой.

– Ясно.

– Дядя Заммлер, ты себе не представляешь, что я чувствую, когда вижу эту округлую руку. Такую смуглую! Таковую тяжелую!

– Да, наверное, не представляю.

– Я прижимаю портфель к прилавку, а сам прижимаюсь к портфелю. И стою так, пока она отсчитывает сдачу.

– Хорошо, Вальтер, избавь меня от дальнейшего.

– Прости, дядя Заммлер, но как мне быть? Я иначе не могу.

– Это твое дело. Мне-то зачем рассказывать?

– А почему бы не рассказать? Есть какая-то причина. Должна быть. Пожалуйста, не останавливай меня. Будь так добр.

– Тебе бы следовало остановиться самому.

– Но я не могу.

– Не можешь?

– Я прижимаюсь. Дохожу до высшей точки. Чувствую влагу.

⁴¹ *Arschloch* – задний проход (нем.).

⁴² Аллюзия на стихотворение Эрнеста Доусона (1867–1900) «*Non Sum Qualis Eram Bonae Sub Regno Cynarae*» («Я не такой, каким был, под властью Цинары»), каждая строфа которого завершается рефреном: «Я был верен тебе, Цинара! По-своему».

Заммлер повысил голос:

– Неужели хоть это нельзя опустить?

– Дядя Заммлер, что мне делать? Мне ведь уже за шестьдесят.

Брух поднес к глазам тыльные стороны своих толстых короткопалых рук. Нос сплюснулся, рот открылся. Вальтер разразился слезами, по-обезьяньи задрал плечи и скривив туловище. Щели между зубами выглядели трогательно. В подобные моменты он уже не звучал грубо. Его плач был плачем музыканта.

– Вся моя жизнь такая.

– Сочувствую, Вальтер.

– Я подсел, как наркоман.

– Ты никому не причиняешь вреда. Сейчас люди относятся к этим вещам гораздо менее серьезно, чем раньше. Почему бы тебе просто не сосредоточиться на каких-нибудь других интересах? Потом, Вальтер, у тебя столько товарищей по несчастью, ты так современен... Это должно бы тебя утешать. Теперь сексуальные страдания не изолируют человека от других, как было в Викторианскую эпоху. Сейчас такие пороки свойственны всем, и все кричат о них на весь мир. Так что в этом смысле ты даже несколько старомоден. Да, твоя краффт-эбинговская⁴³ беда отдает девятнадцатым веком.

Заммлер остановился, почувствовав, что его тон становится чересчур легковесным для слов утешения. Однако он действительно считал проблемы таких людей, как Брух, наследием прошлого. Причина была в ограничениях, существовавших прежде, и в образе женщины-матери, который теперь исчезал. Заммлер сам родился в другое время в Австро-Венгерской империи и потому хорошо ощущал эти перемены. И все же ему показалось, что это как-то нехорошо – лежа в постели, высказывать такие замечания. Если честно, старый, первоначальный краковский Заммлер никогда не отличался добротой. Он был единственным избалованным сыном матери, которая в свое время была избалованной дочерью. Забавное воспоминание: в детстве Заммлер, кашляя, прикрывал рот рукой служанки, чтобы на его собственной руке не осели микробы. Семейный анекдот. Служанка Вадя – улыбочивая, добродушная, краснолицая, с соломенными волосами и большими странно шишковатыми деснами – одалживала ему с этой целью свою ладонь. Потом уже не Вадя, а сама мать стала приносить долговязому Заммлеру-подростку горячий шоколад и круассаны, пока он делал из себя «англичанина», сидя в своей комнате над романами Троллопа и политэкономическими трудами Бэджета. В ту пору у них с матерью была репутация раздражительных эксцентриков. Высокомерных людей, которым трудно угодить и которые никому не сочувствуют. Конечно, за последние тридцать лет своей жизни Заммлер во многом изменился. Теперь вот в его комнате сидел Вальтер Брух: тер глаза пальцами старого шалопая, после того как сам же себя разоблачил. А когда у него не находилось какого-нибудь компромата на собственную персону? Всегда что-нибудь да было. Например, он рассказывал, как сам себе покупал игрушки. В магазине «Ф.А.О. Шварц» или в антикварных лавочках. Заводных обезьянок, которые расчесывались перед зеркалом, били в тарелки и танцевали джигу в зеленых курточках и красных шапочках. Поющих негрятят, которые в последнее время упали в цене. Брух играл с ними в своей комнате, один. А еще писал оскорбительные письма коллегам-музыкантам. Потом приходил, во всем признавался и плакал. Это были не показные слезы, а слезы человека, который чувствовал, что жизнь пошла прахом. Имело ли смысл его разубеждать?

С такими людьми, как Брух, напрашивалась другая тактика: тактика обобщений, сравнений и исторических экскурсов. Например, подобный сексуальный невроз, только более тяжелый и навязчивый, был у фрейдовского человека-крысы, который без конца представлял себе крыс, вгрызающихся в анус, воспринимал гениталии как нечто крысоподобное и даже сам себе

⁴³ Рихард фон Краффт-Эбинг (1840–1902) – австрийский и германский врач, один из основоположников сексологии.

мнился кем-то вроде крысы. В сравнении с этим хрестоматийным случаем у Бруха был всего лишь легкий фетишизм. Если вы мыслили сравнительно-исторически, то из всего жизненного материала вас интересовали только самые яркие и впечатляющие примеры, а все остальное вы отбрасывали за ненужностью и предавали забвению, как лишний багаж. Аналогичным образом была устроена и память всего человечества. Брухи не имели шансов в ней закрепиться. Да и Заммлеры тоже, раз уж на то пошло. Замллера забвение не пугало. По крайней мере забвение тех, кто в противном случае мог бы его помнить. Он вообще усматривал нечто мизантропическое в самой тенденции делить людей на достойных и недостойных запоминания. С одной стороны, это казалось естественным, что исторический подход к жизни оставляет вне поля зрения большинство случаев. То есть сбрасывает почти всех нас за борт. С другой стороны, вот Вальтер Брух: он пришел к Заммлеру, потому что хотел поговорить. Возможно, перестав плакать, он обидится на упоминание о Краффт-Эбинге. Почувствует себя уязвленным из-за того, что его отклонение назвали заурядным. Люди, подверженные пороку, обыкновенно оскорбляются, если их порок не оказывается исключительным и непревзойденным. Заммлеру вспомнились слова Кьеркегора о путешественниках, которые колесят по свету, чтобы видеть реки, горы, звезды, птиц с редким оперением, рыб странной формы, диковинные породы людей. Впадая в животный ступор, туристы глядят на сущее, разинув рот, и думают, будто что-то узнали. Кьеркегора это не интересовало. Он искал Рыцаря Веры, настоящего гения, который, разобравшись в своих отношениях с бесконечностью, сумел бы примириться и с конечным миром. Тот, кто способен нести бриллиант веры, не нуждается ни в чем, кроме самых простых и обычных вещей. Меж тем как другие жаждут исключительного. Или даже хотят, чтобы глазели на них самих. Хотят быть птицей с редким оперением, рыбой странной формы или человеком диковинной породы. Эта тенденция, по-видимому, никого не волновала, кроме мистера Заммлера – обладателя длинного старого тела, кирпичных скул и волос, часто встающих дыбом на затылке от статического электричества. Он беспокоился о том, пройдет ли Рыцарь Веры испытание преступлением, найдет ли в себе силы, повинувшись Богу, нарушить законы, установленные людьми? О да, конечно, должен! Однако Заммлер знал об убийстве кое-что, немного осложняющее решение подобных дилемм. Он часто думал о том, как привлекательно преступление для детей буржуазной цивилизации. Вероятно, даже лучшие из них, будь то революционеры, супермены, святые или Рыцари Веры, дразнили и испытывали себя мыслями о ноже или пистолете. Всех манило беззаконие. Все примеряли на себя роль Раскольникова. О да...

– Вальтер, мне жаль. Жаль, что ты страдаешь.

Странные вещи происходили в комнате Заммлера. В присутствии его бумаг, книг, сигарной тумбочки, раковины, электроплитки и жаропрочной колбы.

– Я буду за тебя молиться, Вальтер.

Брух перестал плакать – очевидно, от удивления.

– Что ты будешь делать, дядя Заммлер? Молиться? – Голос Вальтера утратил баритональную музыкальность. Он снова принялся грубо выплевывать слова. – Значит, дядя Заммлер, у меня женские руки, а у тебя молитвы?

Раздался брюшной смех. Вальтер хохотал и фыркал, смешно раскачиваясь всем телом вперед-назад, держась за бока, зажмурив глаза и показывая ноздри. Однако он не насмеялся над Заммлером. Вовсе нет. Такие вещи следовало различать. Различать, и различать, и различать. Все дело было именно в различении, а не в объяснении. Объяснение – это для масс. Для образования взрослого населения. Для развития общественного сознания. Для ментального уровня, сравнимого, скажем, с экономическим уровнем жизни пролетариата 1848 года. Но различение? Это более высокая ступень.

– Я буду за тебя молиться, – повторил Заммлер.

После этого разговор вошел на некоторое время в обычное русло приятельской беседы. Заммлер был ознакомлен с содержанием писем, которые Брух послал в «Пост», «Ньюздэй»

и «Таймс», полемизируя с их музыкальными обозревателями. На сцену снова вернулся густо загримированный Вальтер-клоун: драчливый, нелепый, грубый, смешной. А Заммлеру хотелось немного отдохнуть. Привести себя в порядок. Шумное гортанное дадаистское шутовство Бруха было заразительно. Заммлер чуть не сказал, переняв его тон: «Изыди, Вальтер! Убирайся, чтобы я мог о тебе помолиться!» Но Брух вдруг спросил:

– Когда ждешь зятя?

– Кого? Айзена?

– Ну да. Он приезжает. Если уже не приехал.

– Я не знал. Он много раз грозился перебраться в Нью-Йорк, но для того чтобы продавать здесь свои картины. Шула ему не нужна.

– Знаю, – сказал Брух. – Она так его боится...

– Ничего у них не выйдет. Он слишком агрессивен. Она действительно боится его, но все же будет польщена: вообразит, что он приехал ее отвоевывать. На самом деле Айзен о женщинах не думает. Ему подай выставку на Мэдисон-авеню.

– Твой зять так много о себе мнит?

– В Хайфе он выучился на печатника и гравера. В его мастерской мне сказали, что он надежный работник. Но потом Айзен увлекся искусством: в свободное время стал заниматься живописью и делать офорты. Всем родственникам разослал их портреты, сделанные по фотографиям. Не видел? Они отвратительны. Порождения большого ума и уродливой души. Не знаю, как ему это удалось, но при помощи цвета он сделал портретируемых совершенно бесцветными. Все стали похожи на покойников с черными губами и красными глазами. Не лица, а какое-то недоеденное жаркое из зеленоватой печени. И в то же время похоже на мазню девочки, которая всем пририсовывает губки бантиком и длинные реснички. Я, честно говоря, ужаснулся, когда увидел себя в образе пупсика из катакомб. Айзен плюс ко всему использует гляцевый лак, под которым я выглядел совсем как в гробу. Можно подумать, самой смерти мне будет мало: надо ее предварительно отрепетировать. Впрочем, пускай приезжает. Не исключено, что безумная интуиция не обманывает его. В Нью-Йорке любят бодрых маньяков. Многие высоколбые интеллектуалы уже объявили безумие высшей мудростью. Айзен, чего доброго, мог бы прославиться, если бы писал в таком стиле государственных деятелей: Линдона Джонсона, генерала Вестморленда, Раска, Никсона или Мелвина Лейрда. Если власть и деньги сводят людей с ума, то почему бы людям не обретать власть и деньги через сумасшествие? Было бы логично.

Заммлер разулся, и его длинным костлявым ногам стало холодно. Он прикрыл их размахрившимся атласным одеялом. Решив, что пожилой джентльмен хочет спать или разговор принял неинтересный для него оборот, Брух попрощался. Натянул черное пальто, нахлобучил тугую кепку и суетливо убежал куда-то. Короткие ноги, задница, как мешок, на брюках велосипедные зажимы... Разве это не самоубийство – ездить на велосипеде по Манхэттену?

Заммлер вернулся к размышлениям о карманнике, о том, как этот негр прижал его своим телом к грыжеобразно вспученным тканевым обоям подъезда. Вспомнил две пары темных очков. Похожий на толстую рептилию член, свисающий с ладони. Розовато-коричневатый (как у лежалого шоколада) цвет этой штуковины откровенно ассоциировался с младенцами, которых она должна была порождать. Уродливая, противная, смехотворная, но все-таки исполненная значительности. Под натиском тех мыслей, которым он уже не пытался противиться, мистер Заммлер привык по-своему, по-другому расставлять акценты в интимных вопросах. Разумеется, он и карманник были очень разные. Во всем. И по уму, и по характеру, и по духу. Их разделяли целые мили. Что же касается сугубо биологического аспекта, то раньше мистер Заммлер считал себя вполне привлекательным в этом отношении – на еврейский манер. Только это никогда для него много не значило, а сейчас, на восьмом десятке, еще меньше, чем когда-либо. А тем временем весь западный мир был охвачен сексуальным безумием. Заммлер

смутно припомнил, что где-то слышал, как тем аргументом, к которому прибег негр-карманник, воспользовался сам президент Соединенных Штатов. Попросив дам удалиться, он продемонстрировал себя представителям прессы и спросил: «Неужели мужику с такими причинами нельзя доверить страну?» История, конечно, была апокрифическая, но (если учитывать личность главы государства) не совсем невероятная. Потом большое значение имел сам тот факт, что этот анекдот возник и расползся на весь город, добравшись даже до вестсайдской комнатухи Заммлера. Еще один симптом – последняя выставка Пикассо, на открытие которой Заммлера привела Анджела. Это был не только показ произведений искусства, но и демонстрация в сексуальном смысле. Пикассо под старость стал одержим вагинами и фаллосами. Охваченный яростной и комичной болью прощания, он создавал половые органы тысячами, а то и десятками тысяч. Лингам и йони⁴⁴. Заммлер подумал, что, внезапно придя ему на память, эти санскритские слова его озарили. Немного расширили горизонт. Однако их эффекта оказалось недостаточно для того, чтобы разобраться в такой проблемной теме. А тема была очень проблемной. Заммлеру вспомнилось одно из заявлений Анджелы Грунер. Как-то раз, после нескольких бокалов, она, веселая и смеющаяся, почувствовала себя с дядей Заммлером совсем свободно (до грубости) и выпалила ему: «Еврейский мозг, негритянский член, нордическая красота – вот чего хочет женщина». Таков ее образ идеального мужчины. Что ж, у нее, между прочим, кредитные счета в самых шикарных магазинах Нью-Йорка, она может себе позволить выбирать лучшее со всего света. Если того, чего ей хочется, нет у Пуччи, она закажет это в «Эрмесе». У Анджелы есть все, что покупается за деньги. Все, что могут дать человеку роскошь, красота и сексуальная изощренность. Если бы она могла найти своего идеального самца, этот продукт божественного синтеза, она бы сумела сделать так, чтобы для него игра стоила свеч. Анджела ни перед кем бы не оробела – на сей счет можно было не сомневаться. В минуты, подобные этой, мистер Заммлер получал особое удовольствие от своих лунных мечтаний. Артемида – богиня луны и целомудрия... Переселившись на другую планету, люди должны будут усердно трудиться только затем, чтобы жить, чтобы дышать. Им придется строго следить за мерными шкалами бесчисленных приборов. Условия станут совсем другими. Суровые служители техники превратятся почти что в священников.

Если к мистери Заммлеру не приходил Брух со своими навязчивыми исповедями, то приходила Маргот: после трех лет добродорядочного вдовства она снова начала задумываться о сердечных делах (разумеется, это были не столько практические замыслы, сколько всесторонние теоретические дискуссии *ad infinitum*⁴⁵). Если не приходила она, то приходил Феффер – герой бесконечных альковных приключений. Если же не являлся и он, тогда для доверительной беседы являлась Анджела. Правда, «доверительная беседа» – слова не совсем подходящие. Скорее это было выплескивание хаоса – акт, часто принимавший тираническую форму, особенно с тех пор, как отцу Анджелы стало нездоровиться (сейчас Грунер вообще угодил в больницу). По поводу этого хаоса у Заммлера были кое-какие идеи. У него на все был свой взгляд – весьма оригинальный, но чем, как не им, руководствоваться в жизни? Конечно, Заммлер понимал, что может ошибаться. Ведь он европеец, столкнувшийся с американскими феноменами. Непонимание Америки европейцами порой принимает комичные формы. Заммлер помнил, как после первого поражения Стивенсона⁴⁶ многие беженцы собрались бежать дальше, в Мексику или Японию, поскольку были уверены, что Айк установит в стране военную диктатуру. Но как бы ни складывались отношения между двумя континентами, кое-какие европейские

⁴⁴ Символы мужского и женского начал в индуизме.

⁴⁵ До бесконечности (*лат.*).

⁴⁶ Эдлай Стивенсон (1900–1965) – представитель либерального крыла Демократической партии. Дважды (в 1952 и 1956 гг.) участвовал в президентских выборах и терпел поражение от республиканца Дуайта Эйзенхауэра, имевшего прозвище Айк.

заимствования прижились в Америке очень хорошо. Прежде всего, психоанализ и экзистенциализм. Оба явления связаны с сексуальной революцией.

Вне зависимости от правоты или неправоты мистера Замлера, над Анджелой Грунер сейчас нависли тяжелые облака. Ее – свободную, богатую, очаровательную и лишь самую малость грубоватую – ожидала большая печаль. Первая причина – проблемы в отношениях с Уортоном Хоррикером. Он нравился ей, она была им увлечена, возможно, даже любила его. В последние два года Заммлер мало слышал о других мужчинах. Верность, строгая и буквальная, вообще-то не значилась у Анджелы в меню, но потребность в Хоррикере делала ее старомодной. Этот молодой человек занимался исследованиями рынка в какой-то фирме на Мэдисон-авеню, слыл королем статистики. Был младше Анджелы. Спортсмен (теннис, тяжелая атлетика). Родом из Калифорнии. Высокий, превосходные зубы. Дома держал гимнастическое оборудование. Анджела говорила про наклонную доску с ножными ремнями для упражнений на пресс и стальную перекладину для подтягиваний в дверном проеме, а еще про холодную мебель из хрома и мрамора, кожаные аксессуары, британские офицерские складные стулья, предметы оп- и поп-арта, множество зеркал и отраженный свет. Хоррикер был хорош собой – Заммлер не спорил, хотя и считал, что этот энергичный, немного недооформившийся молодой красавец, вероятно, имеет природную склонность к тому, чтобы стать негодяем. (Иначе зачем ему столько мускулов? Неужто для здоровья, а не для бандитизма?) «А как одевается!» – восторгалась Анджела хрипловатым голосом комической актрисы. По-калифорнийски длинноногий, узкобедный, с рассыпчатыми длинными волосами, мило вьющимися сзади на шее, это был ультрасовременный денди. Очень придирчивый не только к своей, но и к чужой одежде. Даже Анджела подвергалась строгой инспекции в духе вест-пойнтского военного училища. Однажды, решив, что она одета неподобающе, Хоррикер бросил ее на улице. Перешел на другую сторону. Изготовленные на заказ рубашки, туфли и свитеры регулярно поставлялись ему из Лондона и Милана. Анджела говорила, что, когда Уортон сидит в кресле своего парикмахера (нет, «стилиста!»), хочется играть духовную музыку. Он стригся у грека на Пятьдесят шестой авеню в Ист-Сайде. Да, Заммлер много знал об Уортоне Хоррикере. О его здоровом питании. (Хоррикер даже приносил Заммлеру баночки с сухими дрожжами, улучшающими пищеварение, и тот оценил их благотворный эффект.) А галстуки! У Хоррикера была целая коллекция восхитительных галстуков. Неизбежно напрашивалось сравнение с чернокожим карманником. Об этом культе мужской элегантности следовало поразмыслить. Туманно припоминалось что-то важное: о Соломоне во всей его славе и о полевых лилиях⁴⁷. Как бы то ни было, невзирая на нетерпимость к плохо одетым людям, надменную привычку себя баловать и щеголеватое имя этого американского еврея в третьем поколении, Заммлер не пренебрегал тем, чтобы всерьез подумать о нем. Сочувствовал ему, понимая, какой дезориентирующей и растлевающей силой обладают чары Анджелы. Ведь она действует коварно, хотя и не имеет такого намерения, а хочет лишь веселиться, дарить радость, быть яркой, свободной, красивой и здоровой. Относиться к жизни, как большинство молодых американцев (поколение пепси – так, кажется, они себя называют). Откровенничая с дядей Заммлером, Анджела оказывала ему честь. Почему именно ему? Из всех пожилых беженцев она считала его самым понимающим, самым образованным, самым европейски-широко-разносторонне-гибко-продвинуто мыслящим, самым молодым в душе. К тому же она полагала, что дядя Заммлер очень интересуются всяческими новыми веяниями. Не делал ли он над собой некоторых усилий, чтобы заслужить такую оценку? Не одалживал ли себя с охотой, не подыгрывал ли Анджеле, исполняя роль старого мудрого европейца? Если так, то ему следовало самому на себя обидеться.

⁴⁷ И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, малOVERы! Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? (Мат. 6:28–31)

А именно так это и было. От молодой родственницы Замлер слышал признания, которых не хотел слышать. Подобно тому, как в автобусе видел человеческие поступки, которых не хотел видеть. Но разве он не ездил снова и снова по одному и тому же маршруту, чтобы посмотреть на чернокожего вора?

Анджела описывала дяде события своей жизни прямолинейно и без умолчаний. Заходила в его комнату, снимала пальто и платок, встряхивала освобожденными волосами, окрашенными под енотовый мех и пахнувшими арабским мускусом (этот запах потом держался, как ореховая морилка на пальцах, на всем плохоньком текстиле заммлеровской спальни: на сиденьях стульев, на покрывале и даже на шторах). Анджела садилась. На ногах белые чулки в «гусиную лапку» (или, как говорят французы, *pied de poule*), на щеках буйный румянец, голубые глаза сексуально темнеют, белая плоть горла пышет жизненными силами. Одним своим видом Анджела делала громкое заявление от лица своего пола в адрес противоположного. Сейчас люди считают необходимым слегка заглушать подобные высказывания комическими нотками, и Анджела следовала этой тенденции. В Америке определенные формы успеха требуют сопровождающего элемента пародии, насмешки над собой, сатиры, направленной на себя. Это можно было наблюдать на примере актрисы Мэй Уэст и сенатора Дирксена. В словах Анджелы иной раз как будто бы тоже сквозил чужой мстительный разум. Стул, на котором она сидела, положив ногу на ногу, казался слишком хрупким и прямым для ее бедер. Она открывала сумочку, доставала сигарету, Замлер подносил зажигалку. Ей нравились его манеры. Выпускающая дым через ноздри, она, если была в хорошей форме, глядела весело, с легкой хитрецей. Прекрасная дева. А Замлер старый отшельник. Когда от избытка дружеских чувств к нему она начинала смеяться, оказывалось, что у нее большой рот и большой язык. Внутри элегантной женщины сидела вульгарная. Губы были красные, зато язык часто бледный. Этот язык, женский язык, играл, очевидно, незаурядную роль в ее свободной роскошной жизни.

На первое свидание с Уортоном Хоррикером она вприпрыжку примчалась из Ист-Виллиджа. Нужно было успеть добраться из южной части Манхэттена в северную с какой-то тусовки, от которой не получилось отговориться. Травку она в тот вечер не курила, только пила виски. От травы она никогда так не кайфовала, как ей особенно нравилось. Четыре раза позвонила она Уортону из переполненного клуба. Он сказал, что должен спать: уже второй час ночи. Он помешан на сне, на здоровье... Но Анджела все-таки ворвалась к нему, вчасос его поцеловала и громко объявила: «Будем трахаться до утра!» Только сначала ей нужно было помыться, потому что весь вечер она томила от предвкушения. «Женщина как скунс. У нас столько запахов, дядя!» – пояснила она. Сняв с себя все, но забыв про колготки, Анджела плюхнулась в ванну. Обалдевший Уортон сидел в халате на крышке унитаза, пока она, краснолицая от виски, намыливая грудь. Как ее грудь выглядит, Замлер прекрасно себе представлял, ибо глубоко декольтированные платья Анджелы мало что скрывали. Итак, она намылилась, ополоснулась, мокрые колготки были с трудом, но весело стянуты, и Хоррикер за руку подвел ее к постели. Точнее, она его: он шел сзади, целуя ее плечи и шею. «О!» – вскрикнула она и была покрыта.

Мистеру Замлеру полагалось благосклонно выслушивать подобные рассказы, избилующие всяческими интимными подробностями. Любопытно, что Герберт Уэллс более умно и тактично, однако тоже говорил с ним о своих сексуальных страстях, хотя от такой высокоинтеллектуальной личности кто-нибудь, пожалуй, мог ожидать взглядов, более созвучных позиции Софокла: «Я с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя»⁴⁸. Нет, ничего подобного. Насколько Замлер помнил, на восьмом десятке Уэллс все еще страстно увлекался девушками, убедительно аргументируя это тем, что возросшая продолжительность жизни должна повлечь за собой пересмотр норм сексуального поведения. Раньше человек, измученный тяжелым трудом и плохим питанием, умирал лет в тридцать,

⁴⁸ Платон «Государство», I: 329. Перевод А. Н. Егунова.

успев к этому возрасту исчерпать свою половую силу. Ромео и Джульетта были подростками. В цивилизованном обществе средняя продолжительность жизни приближается к семидесяти годам, значит, старые стандарты грубой поспешности, преждевременного истощения и ранней обреченности пора отбросить. Злясь и даже постепенно приходя в ярость, Уэллс говорил о границах возможностей человеческого мозга, о его слабеющей с годами способности живо интересоваться новыми событиями. Утопист, он не представлял себе, что то будущее, на которое он надеется, станет эпохой сексуального переизбытка, порнографии, аномалий. Скорее, он ждал, что, когда будет счищена прежняя мрачная болезненная грязь, появится новый человек – более высокий, сильный, зрелый, мозговитый. Хорошее питание и кислород прибавят ему жизненной энергии. Он сможет есть и пить разумно, быть автономным в своих желаниях и регулировать их, ходить голым и притом спокойно исполнять свои обязанности, заниматься завораживающим и в то же время полезным умственным трудом. Да, тот трепет, который на протяжении веков вызывала у человечества преходящность смертной красоты и земных удовольствий, скоро пройдет. Сменится мудростью, порожденной продлением нашего срока.

О морщинистые лица, седые бороды, глаза, «источающие густую камедь и сливовую смолу», о полнейшее отсутствие ума и слабые поджилки... Прочь из этого воздуха, по-крабьи задом наперед в могилу...⁴⁹ У Гамлета был свой взгляд на это. Много раз Заммлер выслушивал Анджелу, лежа на своей кровати и двумя разными глазами рассматривая два (как минимум) комплекса проблем. Сильная резь между ребром и бедром заставляла его присогнуть одну ногу в тщетном поиске облегчения. От этого лицо принимало слегка укоризненное и в то же время сочувственное выражение. Каждодневная столовая ложка пищевых дрожжей (первичного продукта натуральных сахаров, который он растворял в соке и взбалтывал до розовой пены) помогала ему сохранять здоровый цвет лица. Одним из преимуществ долгожительства было, пожалуй, божественное умение себя забавлять. Можно представить, как забавляется Бог, создавая модели, способные развиваться в течение долгого времени! Заммлер знал бабушку и деда Анджелы. Они были ортодоксальными иудеями. Тем любопытнее ему казалось ее язычество. Иногда он сомневался в том, что евреи пригодны для нынешнего римско-вудуистского эротического примитивизма, что отдельный человек может освободиться от многовековой ментальной дисциплины и наследственной привычки подчиняться законам. Невзирая на стремление к эротическому лидерству, демонстрируемое современными еврейскими исследователями ума и души, Заммлер все же не расставался со своими сомнениями.

⁴⁹ См. У. Шекспир «Гамлет», акт II, сцена 2. Перевод М. Лозинского.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.